



**РУССКИЙ
ПУТЬ
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ**

Издается
с 2003 года

Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный
журнал современных писателей
Центральной России*

№ 4 (9)/2005

Главный редактор

Тираж бумажной версии 700 экземпляров

Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести».

Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России

Журнал выходит в свет 4 раза в год
и поступает во все областные
и центральные районные библиотеки
9 регионов Центральной России —
Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской,
Смоленской и Тверской областей.

Редакционная
коллегия:

Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;

Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.

Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).

Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.

© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2005.

Ярославль

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Валентина
Янева

Русское самоубийство

В нашей демократической стране есть целая категория людей, которых можно убивать, их убийство разрешено законом. Это — нерожденные дети, это те люди, которые еще находятся в материнской утробе. Их можно убивать, их убийство разрешено законом, оно не карается, не считается преступлением. Мы заявляем, что мы гуманны и демократичны, мы отменяем смертную казнь, мы не казним даже злодея, который изнасиловал и зверски убил пять, шесть, десять тех же самых детей, но злодея этого мы не казним — потому что это будет не гуманно. А вот убивать ни в чем не виновных детей — это гуманно! И мы убиваем их, убиваем сотнями и тысячами, миллионами по всей стране — и продолжаем говорить о гуманности! День за днем продолжается эта мясорубка, этот конвейер детоубийства — а мы продолжаем говорить о гуманности!

Некоторые сторонники аборта лицемерно говорят, что аборт не является убийством, потому что плод, чью жизнь прекращают, еще не стал -де человеком, не имеет разума и ничего не чувствует. Но это лицемерие, хитрость для успокоения собственной совести. Что из того, что он еще не стал человеком! Ведь он для того и зародился в материнской утробе, для того и находится в ней — для того, чтобы стать человеком, чтобы родиться и жить! И он бы родился и жил, если бы его не убили.

Когда мы читаем о крепостном праве, то негодуем и удивляемся — как это было возможно, что одни люди имели право владеть другими людьми, продавать, проигрывать в карты. Мы удивляемся и негодуем: как они не понимали, что не может один человек владеть другим человеком, как

Валентина Яновна Янева родилась в Москве в 1968 году. Болгарка по отцовской линии, она жила в детстве и отрочестве то в России, то в Болгарии, три года училась в университете имени Кирилла и Мефодия в городе Велико Тырново, на факультете русской филологии. В Болгарии работал а гидом, после переезда в Россию в 1995 году - посудомойкой, няней, дежурной в детском доме. В настоящий момент - безработная.

С юношеских лет пробует свои силы в прозе, опубликовала один рассказ в рыбинской газете «Курьер новостей». Живет в Рыбинске.

вещью, как они не понимали, что это чудовищно. Но мы теперь поступаем страшней и чудовищней. У нас одни люди имеют право не продавать, а убивать других людей.

Когда-нибудь, в будущем, люди тоже будут читать об абортах с ужасом и отвращением, и будут удивляться и спрашивать: как мы не понимали, что аборт — это чудовищное злодеяние? Как было возможно такое положение вещей, такое ослепление и безумие — что детоубийство считалось обычным делом, было в порядке вещей? Как это можно понять — что создавались всякие общества, защищающие от жестокого обращения кошек

и собак, что сердобольные гуманисты кричали о негуманном обращении с преступниками в тюрьмах — и при этом в стране убивали миллионы ни в чем не повинных детей? И все это знали, и жили, как будто так и надо!

В Древней Спарте оставляли в живых только крепких и здоровых детей, а хилых и болезненных бросали в пропасть. Мы читаем об этом и содрогаемся, мы говорим: какое варварство! Какая дикость! Какой чудовищный цинизм!

Но чем лучше аборты? Чем мы лучше тех варваров? Почему убить ребенка, который только что родился — злодеяние, а того, который в утробе, который родится через семь месяцев — в порядке вещей?

Мы даже хуже, чем они. В их действиях был хоть какой-то смысл, хоть какая-то цель — они были народом воинов и, убивая больных и уродливых детей, они оставляли крепких и здоровых, которые становились хорошими воинами. Это жестоко и цинично, но в этом хотя бы была забота об интересах всего племени, хоть какая-то общая цель. У нас нет и этого. Мы убиваем только из эгоизма, убиваем, чтобы легко жить, чтобы наслаждаться и развлекаться, чтобы не обременять себя заботами.

Аборт является злодеянием не только в нравственном отношении — это еще и величайшая глупость с практической точки зрения в масштабах страны, преступление против национальных интересов. Мы теперь с гордостью повторяем, что мы — прагматики, что надо быть прагматиками, что самое главное — выгода, польза, интерес. Но даже с этой точки зрения — где же здесь прагматизм? Где же здесь понимание своей выгоды — если мы просто так, за здорово живешь, истребляем свое население, свое будущее? Население вымирает, убывает страшно, стареет на глазах, школы и детские сады закрываются из-за нехватки детей, через десять лет будет некому работать — а мы делаем аборты по несколько миллионов в год! Вот та дыра, та ненасытная прорва, в которую проваливается население России! Вот оно, русское самоубийство!

По всем этим причинам, аборт должен быть запрещен, должен называться тем, что он и есть на самом деле — убийством.

Некоторые говорят, что аборты не надо запрещать, что аборт — социально-экономическое явление, что люди делают аборты, потому что им трудно жить; станет легче жить, и аборты сократятся. Но это тоже лицемерие. Дело не в том, экономическое явление аборт или нет, дело в том, что аборт — злодеяние и убийство, и так и должен называться, и так и должен караться.

Если уж на то пошло, то любое преступление имеет социально-экономическую основу. Кража имеет социально-экономическую основу, мошенничество имеет социально-экономическую основу, убийство с целью ограбления имеет социально-экономическую основу. По этой логике следует разрешить все преступления, не наказывать ни за воровство, ни за грабеж, а ждать, когда жизнь станет лучше и они сами собой прекратятся.

Аборт должен быть запрещен, должны быть введены законы, карающие как мать, убивающую своего собственного ребенка, так и врача, который должен служить человеческой жизни и исцелять, а вместо этого убивает.

Должны быть введены меры, поощряющие рождаемость, помимо денежных сумм, которые семья получает при рождении ребенка. Например: после рождения третьего

ребенка государство предоставляет этой семье хорошую квартиру, после рождения четвертого — берет на себя все заботы о здоровье и лечении всех четырех детей, после рождения пятого — полностью берет на себя все расходы по обучению детей, предоставляет им возможность посещать кружки, заниматься спортом; если дети смогут сдать хорошо экзамены в институт — государство платит за них, кормит и содержит, пока они не закончат учебу. Должны быть построены детские дома, много хороших детских домов.

Некоторые говорят, что лучше сделать аборт, чем отдать ребенка в детский дом, где он будет страдать, и неизвестно, что из него выйдет.

Но это тоже лицемерие. Мы думаем не о ребенке, а о себе.

В детских домах дети, пусть и не в семье, но тоже имеют свои радости. Они играют, дружат, учатся, мечтают о будущем; они дышат воздухом, видят солнце, небо — они живут. И если подойти к какому-нибудь из этих детей и спросить: скажи, лучше было бы, чтобы твоя мать тебя вовсе не родила, чтобы ты был убит в утробе — никто из них не скажет, что это лучше. Ведь никто из этих детей не кончает жизнь самоубийством, не лезет в петлю. Значит, несмотря ни на что, в их жизни есть какая-то радость, значит, они хотят жить. Так какое же я имею право решать — что вот пусть лучше я убью этого ребенка, лишь бы он не страдал? В жизни есть и плохое, и хорошее. Как же я, под предлогом, чтоб этот ребенок не страдал, под предлогом, что я его жалею — отниму у него воздух, дыхание, свет, отниму у него Божий мир, не дам ему совершить свой земной путь, получить свою долю радости и печали? Как же я отниму у него тысячи дней — детства, юности, возмужания, зрелости — отниму у него жизнь?

А насчет того, что он из детского дома выйдет Бог знает кем — на все воля Божья. И из детских домов выходят достойные люди, и в семье с отцом и матерью вырастают негодяи. А если так боишься, что выйдет из твоего ребенка — значит, роди и сама воспитай, сама оберегай от дурного.

Не можешь? Не хочешь? Боишься, что будете голодать? Что раньше времени состаришься от забот, что не сможешь покупать себе красивые вещи (потому что придется отдавать деньги на пеленки), что не сможешь ходить в гости и путешествовать, потому что придется сидеть с ребенком? Тогда не убивай, а отдай в детский дом. Это будет все-таки меньший грех. Не можешь, не хочешь воспитывать — не убивай, дай ему родиться, отдай в детский дом, и что Богу угодно, то и будет.

Конечно, это будет неприятно, неспокойно для тебя, придется думать, беспокоиться. Ведь это неприятно — знать, что где-то там растет твой ребенок, совесть будет укорять тебя. Это неприятно, неспокойно. Гораздо проще убить — и как будто ничего и не было, и опять можно ходить в гости, наряжаться, есть пирожные. Мы не ребенка жалеем — а себя, не о ребенке думаем — а о своем спокойствии. Но мы лицемерим и обманываем, мы говорим, что нам жаль ребенка, что он будет страдать, и лучше его убить, чтобы не страдал.

Иные даже говорят: если я не могу обеспечить своего ребенка всем, если не могу ему дать все, что есть теперь у детей — лучше сделать аборт. Для нормального ума эта логика чудовищна. Как! Значит — если я не могу дать своему ребенку дорогих механических игрушек и мобильных телефонов, если не могу содержать его в роскоши — так лучше ему не жить, лучше его убить? Чудовищно! Да пусть у него не будет мобильных телефонов — но будет воздух, свет, небо, солнце, будет жизнь!

Когда-нибудь, когда аборт будет объявлен вне закона, мы столкнемся с подпольными абортами. Но с этим можно и нужно бороться. С одной стороны — строгостью закона, страхом наказания, а с другой — проповедью, увещанием. Нужно, чтобы в гинекологических кабинетах, в школах, по телевизору и радио говорили женщинам и девушкам: если не можешь и не хочешь воспитывать своего ребенка — не убивай, а лучше отдай в детский дом. Вместо того, чтобы идти на подпольный аборт,

подвергаться риску сесть в тюрьму за детоубийство — лучше отдай в детский дом. Бог создал его, вложил его в твою утробу, чтобы он родился и жил; так дай ему родиться — а дальше уже воля Божья над ним.

Говорят, что если ребенок живет в детском доме, а не в семье — это плохо. Может быть, плохо, а может, и хорошо. Посмотрите на нынешних детей, которые живут в семье: они не выглядят голодными, они хорошо одеты, у многих есть мобильные телефоны, велосипеды — но при этом они грязно ругаются, начинают курить в 8-10 лет, имеют в обиходе 30-50 слов, и с трудом выражают даже простейшие мысли. Может быть, было бы лучше, если бы было наоборот? Пусть бы лучше они были попроще, победнее одеты, меньше бы имели дорогих побрякушек, но не курили и не сквернословили бы, были бы скромны, честны, целомудренны, уважали труд взрослых, умели быть благодарны за заботу. Пусть бы лучше у них было меньше игрушек, джинсов, магнитофонов — но они читали бы книги, знали бы, кто такой Ломоносов и кто такой Сергей Радонежский, и говорили бы не пошлым, исковерканным, площадным, а русским языком.

Если ребенок живет в детском доме, и если он в руках хороших, достойных воспитателей, то это даже может спасти, оградить его от пошлости и разврата, которые ныне царят всюду.

К этому делу нужно привлечь церковь. Некоторые детские дома можно строить при монастырях и храмах. Воспитателями детей были бы служители церкви, и воспитывали бы они их в духе веры, любви к Родине, уважения к старшим. Наверное, со временем, при этих детских домах, где дети живут без родителей, можно бы открыть отделения, наподобие прежних пансионов, куда некоторые родители даже стали бы специально посылать на время учебы своих детей — те родители, которые хотят защитить своих детей от всеобщего разврата, но чувствуют, что их силы для этого слабы, потому что пошлость, глупость и цинизм теперь царят повсюду, все проникнуто ими. Такие родители будут посылать своих детей в эти закрытые пансионы, чтоб хотя бы до восемнадцати лет, пока у человека еще нет крепкого нравственного основания и он легко поддается и дурному, и хорошему — хотя бы на это время оградить их от разврата, чтобы они не слышали вокруг себя грязной ругани, вульгарных, площадных фраз, чтобы не видели по телевизору размалеванных, идиотских рож, не начинали с десяти лет читать журналы, в которых публикуют интервью с проститутками.

А всем верующим людям можно сказать: пока над нами тяготеет страшный грех детоубийства, пока наши руки в крови наших детей — Бог не помилует Россию.

Многие говорят теперь, что мы совершили страшный грех, убив царя, и отсюда все наши беды. Может быть, это правда, но аборт — не менее страшный грех, который тяготеет над Россией. Царь Ирод истребил четыреста тысяч младенцев — и был проклят во веки веков, его считают величайшим злодеем, а мы убили не четыреста тысяч, мы убили столько, что наши потери в Великой Отечественной войне бледнеют перед этим числом. Так кто же мы тогда?

Мать! Не убивай своего ребенка! Бог послал его тебе, чтобы ты его любила и защищала. Он еще не родился, он еще в тебе — но уже просит твоей любви и защиты. Ты должна его любить и защищать — а вместо этого убиваешь! Значит, что же выходит? Одного ребенка ты холишь и лелеешь, записываешь в колледж, учишь английскому языку — а другого убиваешь? Ты такая добрая, милосердная, сострадательная, ты каждому готова помочь и пожалеть — только своего собственного ребенка не жалеешь. И убиваешь.

Не оправдывайтесь такими словами, что все, мол, это делают. Если бы мы пришли к какому-нибудь помещику-крепостнику и сказали: что же ты делаешь? Ты владеешь людьми, своими братьями, как скотиной, продаешь их и покупаешь — разве это можно? Он бы тоже ответил: а что же тут плохого? Все так делают. Все мои соседи имеют крепостных, и у всей моей родни есть крепостные, и у такого-то, и у такого-то. Все так делают. Если бы мы пришли в какое-нибудь людоедское племя и сказали бы кому-нибудь

из них: что же ты делаешь? разве ты не понимаешь, что это мерзость в глазах Бога? Он бы тоже удивился и сказал: а что же тут плохого? Это все делают. И моя жена ест человеческое мясо, и мои дети едят человеческое мясо, и все мои родные едят человеческое мясо, и наш вождь, самый уважаемый человек племени, тоже ест человечину. Все так делают.

Аборты существуют из-за нашего эгоизма, бездушия и лицемерия, из-за эгоизма, равнодушия и жадности властей. Ведь придется шевелиться, что-то делать — а властям неохота; придется проявить твердость и мужество, потому что многие любители гуманизма — которые теперь спокойно смотрят на эту мясорубку, на это массовое детоубийство — если запретить эту бойню, в тот же миг поднимут крик о правах человека; придется давать деньги на детские дома — а тогда им меньше останется на виллы и мерседесы, на отделку кабинетов, на евроремонты...

ПОЭЗИЯ



Елена Балашова

Голос горлицы

* * *

Нищим стал первейший богач,
Сделался разбойник министром,
Стал отцом народов палач.
Но не стало грязное чистым.
Но остался глупым дурак,
Небо не смешалось с землицей...
Как же вы, товарищи, так —
Умные — могли ошибиться?

* * *

Что же нам в утешенье осталось
После горьких потерь и утрат?
Оглянусь — не такая уж малость:
Небо, звезды и сердца набат.
То он громко звучит, то поглуше,
Но умолкнуть не может уже.
Сердце русское, внемли и слушай:
На последнем стоим рубеже.
Не Москва — вся Россия за нами,
Весь страдающий русский народ,
Небо русское, русское знамя —
Всё, чем русское сердце живет.

Елена Львовна Балашова родилась в 1949 году в деревне Галузино Чухломского (ны не — Галичского) района Костромской области. Мать работала учительницей; отец, инвалид детства, некоторое время также работал в школе. В 11-летнем возрасте Елена пережила тяжелое заболевание, в 19 лет получила инвалидность. По ее собственному признанию, ее спасла поэзия: литературные труды наполнили судьбу смыслом, стали главным жизненным занятием.

Первые поэтические опыты Е. Балашовой публиковались в районной и областной прессе, в областных и краевых коллективных сборниках. В 1993 году в г.Чухломе вышла в свет первая книга ее произведений «Заколдованный круг», в 1997 году в г. Костроме — вторая книга «Высокий свет».

Стихотворения Елены Балашовой печатались в журналах «Нева», «Роман -журнал XXI век», газете «Литературная Россия». Московский композитор Р.Аюпов сочинил на ее стихи цикл песен, исполняемых под гитару.

Член Союза писателей России с 1995 года.

Живет в Чухломе.

* * *

Мои руки грубы от работы домашней,
А на сердце нежность такая зреет
К опустевшим лесам, к этой черной пашне,
Что сказать о ней я уже не смею.
Лишь все чаще и чаще к земле припадая,
Я над ней рыдаю, чибисом плачу,
Потому что нежность к земле — такая,
Что слова уже ничего не значат.

КОРЫТО

После всех величайших открытий
Тащит бабка навоз на корыте.

Где-то в космос ракету пустили,
А про старую бабку забыли.

И покуда ракета летает,
Бабка длинную грядку копает,

И болит у нее поясница,
И ночами все чаще ей снится

Молодой, синеглазый, убитый —
Тот, кому в этом самом корыте

Постирала однажды рубашку
Озорная девчонка Парашка...

* * *

«Все мало ей тряпок и хлама», —
Ворчал он. И думал о том,
Что бегала юная мама
В единственном платье простом,
Что даже картошка в мундире
Вкуснее пирожных была,
Что в этой роскошной квартире
Ему не хватает тепла...
И пил из бутылки он прямо,
И вспомнить хотел — и не мог:
Пальто-то хоть было у мамы?
Но видел лишь глины комок,
Приставший к штанам на кладбище,
Где мать он вчера схоронил,
Где ветер бездомником свищет
Среди позабытых могил.

* * *

Теперь в деревне песен не услышишь:
Мерцает в окнах голубой экран.
Сооруженье странное на крыше
Ловить способно голос разных стран.
А у деревни голос стал суровым,
Его могу я точно передать.
Шарахаются бедные коровы,
Едва слышат: «Эй...такая мать!»
Пастушью ни свирель, ни барабанку
Теперь уже нигде не услышать,
Но раздаётся всюду спозаранку:
«Ах, чтоб тебя...куда, такая мать?»
Бывало, заливалась тут гармошка —
На месте было трудно устоять.
Теперь же вместо «Милый мой, хороший...»
Несется грозно: «Ты...такая мать!..»
Порою только кто-то, сильно пьяный,
Захочет что-то нежное сказать —
И пробормочет: «Ах ты, окаянный...»
Но тут же и добавит...эту мать.

* * *

— Вот этот пьяный, хмурый сброд,
Лихой в жестокости незрячей,
Вот это всё — народ?
— Народ!
Уж ты не думала ль иначе?
— И эта шлюха? И..
— Уволь,
Не продолжай, прошу, не надо.
С ним общая у нас юдоль,
Когда народ он, а не стадо.
И — до конца с ним! До конца
Любить его. Страдать, жалея,
Обманщика и подлеца,
Предателя и лиходея.
С ним, с ним идти на жизнь, на смерть,
В тюрьму, в железные оковы..
А если надо — умереть,
Чтобы воскреснуть к жизни новой.
Все униженья, срам, позор -
Все вынести!.. и не отречься!
На плаху, дыбу, на костер,
Повсюду — с ним.
И дальше — в вечность.

РОССИИ

И тела, и души разврат.
Унижены твои святыни.
Уж тризну праздновать спешат
Враги твои в глухой гордыне.
Но сквозь почти небытие
Живой твой голос ясно чую.
Кружится тучей воронье,
Но нежно горлица воркует.
И пахнет юною травой,
Что проросла на пепелище,
И голос горлицы живой
На сельском слышится кладбище.

* * *

Стучусь к глухим — они не слышат,
Глазами смотрят — и не зрят.
И поднимаю взор я выше,
Где звезды чистые горят.
Я знаю — Он молитве внемлет,
И я в слезах о том молюсь,
Чтоб не оставил нашу землю,
Чтоб сохранил Святую Русь.
Она жива еще — и дышит.
Воскрес Христос, хоть был распят...

Стучусь к глухим — они не слышат,
Глазами смотрят — и не зрят.

* * *

За потоками мутных словес
Не желаю я больше гоняться.
Понимаю: есть правда небес,
А не всяких там партий и фракций.

Словоблудия рвется поток...
Им и дела-то нет до народа!
Глянешь: чуть ли не каждый — пророк.
Видно, спрос на пророков. Иль мода?

Я нечистых не слышу речей
И льстецам записным не внимаю.
Вижу пламя живое свечей —
И свою от него зажигаю.

Зажигаю, и пламя свечи
Освещает родные мне лица...
Вот — народ мой, и коль он молчит,
Значит, время настало молиться.

ИЗ ДЕТСТВА

Мгновенья счастливые перебирая,
Помню, все помню, забыть не могу,
Как по тропинке бегу я, босая,
Босая, маленькая бегу.
Мама мне сшила новое платье,
Новые ленты в косы вплела.
Счастье еще так по-детски внятно,
Еще и черемуха не цвела.
Шлепают, шлепают звонко пятки,
По тропинке босая бегу...
Детское счастье, как же ты кратко —
До сих пор забыть не могу!

* * *

Кукушкины слезы, кукушкины слезы,
Высокие травы, гремучие грозы,
Да запах берез, да ромашки в лугах,
Да свежесть травинки на юных губах.

Кукушкины слезы, гремучие грозы,
Да первые тайные девичьи слезы,
Да радость рассветов, да нежность закатов...
Куда же ты, детство?

Куда ты?
Куда ты?

* * *

Так было холодно и жутко
От завывания ветров,
Что я забылась на минутку
У огонька горячих слов
И — всё придумала... Прости же
И, если можешь, не вини.
Мне просто надо было выжить
В те промороженные дни.
Ну, а теперь пора прощаться.
Прости. Тогда была зима.
Я научилась расставаться.
Я всё придумала сама.

* * *

...облаком нестись, презрев земную низкость...

М.Ломоносов

И облаком нестись над миром одичалым,
И детскою душой о мире сем скорбеть,
И птахой беззащитной, птахой малой
Попасть в его раскинутую сеть...

В САДУ

Давай с тобою выйдем в сад,
Давай-ка выйдем в сад.
Какие белые весной
Деревья там стоят!
Как нежен, невозможно чист
Там каждый лепесток!
Там ты скворца услышишь свист —
Поэзии исток.
Давай-ка просто помолчим,
Давай-ка помолчим.
Для болтовни тут нет причин,
Тут нет совсем причин.
Замри и слушай. И смотри.
И слушай, и смотри.
А понял что — не говори,
Смотри, не говори!

* * *

Запах сосновый от новых досок.
Запах сосновый.
Кто твою душу простую сберег
В роще лиловой?
Озеро. Белый вдали монастырь.
Шелест осоки.
Кто нашептал позабытую быль
Лет тех далеких?
Сердце встревожит простая печаль,
Запахи лета.
Что же ты плачешь? Чего тебе жаль?
Нету ответа.

* * *

Что с вами стало? Что с нами стало?
Сердце ль устало? Душа ли устала?
Кто это в сумраке синем маячит?
Что эта музыка тихая значит?
Тихо, так тихо... В комнате — вечер.
Я зажигаю тонкие свечи.
Тонкие свечи я зажигаю,
Запах еловый, смолистый вдыхаю.
Что с вами стало? Что с нами стало?
Легкие строки душа написала.
В комнате тихо, в комнате вечер.
Я погасила тонкие свечи.

* * *

Церковь полуразрушенная,
А над нею — стрижи.
Чьими-то древними душами
Стая птичья кружит.
Милое, полузабытое...
Что я в душе таю?
Мне бы стоять ракитою
В этом глухом краю.

* * *

От многого знания — много печали...
Мне страшно! Возьми все назад.
Не помню, о чем эти птицы кричали,
О чем лепетал листопад,
О чем тосковала певучая ива
У темной холодной воды,
О чем волновалась тяжелая нива
В предчувствии близкой беды, —
Не помню, не знаю...Прими отречение.
Мне сил не хватает забыть,
И слово уже не имеет значенья,
Которое нужно открыть.
Я много узнала. Я все позабуду.
Печали мои утоли.
Как нежно сияют глаза незабудок!
Как власть беспредельна земли!

* * *

Уходя, оглянись: свет в окошках горит,
Раным-рано затопятся русские печи.
А погода-то нынче!.. Дурит и дурит,
И швыряет, шутя, мне сугробы на плечи.

Уезжаю — и вновь возвращаюсь сюда.
Слава Богу, что есть мне, куда возвращаться.
Здесь и горе — не горе, беда — не беда,
Здесь мне сны золотые по-прежнему снятся.

Уходя, оглянись — и увидятся мне
Только вешки у тропки да мгла ледяная.
В семь домов деревушка на малом холме.
Сердце бьется: живая!

живая!

живая!

КАРТОШКА

Перебираю картошку — хлеб второй.
Хотя и уродилась, но гниет очень.
Перебираю клубни. Этот — сырой...
Но картошка — это так, между прочим.
Не о картошке же в стихах говорить,
Да еще и гнилой, к тому же, наполовину.
Ну, ничего: вот эту можно еще сварить...
Нужно, пожалуй, встать и выпрямить спину.
Вы говорите: проза, а я вам: Поэзии суть
И жизнь! Я никуда от нее не сбегаяю.
Нужно просто немножечко передохнуть —
И вновь не Америка, а Россия покажется раем.
Мне даже гнилая картошка милее окорочков!
Я ее своими руками перебирала
Три целых дня, и все — молчком...
Думаете, для Поэзии этого мало?

* * *

О, дудочка!.. моя свирель, цевница,
В отчаянии плачу и пою,
Но даже вольной легкокрылой птице
Я дудочки своей не отдаю.
Ну, как отдать! В ней жизнь моя таится —
В той дудочке, в свирели той, в цевнице.

ПРОЗА



Альфред СИМОНОВ

Фазтон

Из записной книжки
полковника контрразведки

Весна в деревне, на завалинке сидит мой давний знакомый, пожилой мужик Иван Петрович. Во времена Чехова таких называли уже стариками; впрочем, тогда и в пятьдесят лет могли записать в глубокие старцы. Сейчас старость помолодела, но к Петровичу это не относится: он, действительно, пожилой — пожил, повидал. Даст Бог, и еще поживет.

На нем подаренные мной, выдавшие виды галифе и военная гимнастерка с синими петлицами; на ногах валенки, на валенках — калоши из реликтовой красной резины. Помнится, достать такие калоши было голубой мечтой всех наших мальчишек, мы делали из этой резины дальнобойные рогатки. И как это такой дефицит уцелел, дожил до наших дней?

Знакомец мой слегка под хмельком — очевидно, хлебнул за обедом своей любимой свекольной бражки. Настроение у Петровича философское. Трудовую деятельность он закончил лесником, где, видимо, и приобрел привычку к созерцательности и философствованию. Любит задавать каверзные вопросы, но сам на них никогда не отвечает, предпочитает, чтобы это делал кто-то другой. Вот и сейчас, установив со мной зрительный контакт, которого я, как ни старался, не сумел избежать, закидывает привычную удочку:

— Николаич, ответь мне на один вопрос...

Обычно, видя его в таком состоянии, я стараюсь изобразить из себя крайне занятого человека и проскочить на полном ходу мимо, но сейчас это уже не получится.

Альфред Николаевич Симонов родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил историко-филологический факультет Ярославского педагогического института им. К.Ушинского. С 1970 года - на службе в органах КГБ СССР, а затем ФСБ России. В начале 90-х гг. прошлого столетия работал на выборной должности председателя Совета народных депутатов Кировского района Яро славля, а затем заместителем главы администрации этого района. Участвовал в выборах в Государственную Думу Российской Федерации первого созыва в качестве кандидата в депутаты. Работал первым заместителем начальника областного управления налоговой полиции. В настоящее время - директор службы безопасности одного из акционерных обществ, одновременно руководит общественной приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ярослав ской области.

Печататься начал в студенческие годы. Стихи и публицистика А.Симонова публиковались в областных газетах и коллективных сборниках. В 2004 году опубликовал в нашем журнале свое первое произведение в прозе «Светлое прошлое».

Живет в Ярославле.

© Альфред Симонов, 2005.

— Только на один, и то, если он простенький. Например, спроси: куда я иду? И я тебе отвечу: иду купить картошки у другого соседа. Почему у другого? Потому, что у тебя ее вечно не хватает...самому, поскольку у тебя психология обычного деревенского жмота.

— Это точно, — говорит мой собеседник, скребя заскорузлой рукой морщинистую шею. С утра он побрился явно тупой бритвой «Нева», оставившей на его щеках нескошенными участки; горло же и шея вольно зарастают седой щетиной. — Это точно, Николаич. И все ж таки ответь мне: зачем все был о-то?

— Что все?

— Да все...жизнь моя, мать ее, да и твоя...

— Эк тебя со свекольной-то повело! Ну, потерпи немного, я заскочу в магазин, куплю чего-нибудь, тоже хлебну, подумаю. Может, и отвечу.

— У кого ж мне еще спросить-то? Ты грамотный, целый полковник.

Бывший лесник — хороший психолог, он знает мою слабость к откровенной, без затей, лести. Да мне и впрямь хочется ответить — и ему, и самому себе — на этот вечный вопрос, и как-то совсем неожиданно для себя я присаживаюсь на завалинку рядом с ним.

— Знаешь, на Земле, за время существования разумной жизни, жило миллиардов десять людей, а то и больше. Это — еще до нас с тобой, а если считать с нами — так еще шесть миллиардов. И все эти люди — ну, почти все! — задавали себе вот этот самый вопрос, который ты мне сейчас задаешь. Самые умные головы сломали себе мозги, тонны бумаги исписали, рассуждая на эту тему — и ни хрена-то путного не сказали. Потому что ответа на твой вопрос нет, брат, в природе. Так что, Иван Петрович, грейся на солнце и жди меня — через полчаса буду с философским эликсиром. Посидим...может, что и надумаем?

— Тогда я пойду огурчиков порежу, — говорит Петрович, поднимаясь с завалинки. — И стопки принесу.

— А хлеб захватишь? или мне купить?

Вскоре мы уже сидим с ним на лавочке, под распутившейся березой — и, закусывая хрустящими, засоленными на смородиновом листе огурчиками, предаемся неспешным рассуждениям. Тема у нас, правда, уже другая: когда начинать обрабатывать землю под картошку. Тут у нас с Петровичем разногласий мало, а сомнений нет и в помине.

Мало-помалу, впрочем, мы с ним переходим и к другим проблемам бытия...

* * *

Зачем все было? Этот же вопрос, помнится, задала мне не так давно совсем молоденькая девушка, усиленно делавшая вид, что ее интересует политика, а не замужество и наряды. Разозлившись на какую-то мою фразу, она с вызовом бросила, не особенно скрывая пробивавшуюся в ее голосе жалость ко мне, человеку с несложившейся, по ее мнению, судьбой:

— Ну, и чего вы добились в жизни, господин полковник? Государство, безопасность которого вы защищали, разлетелось на осколки, идеология, которой вы поклонялись — рассыпалась! И чем вы можете оправдать свое существование?

Я тогда, конечно, нашел, что ответить. Заводиться не стал, только пос оветовал:

— А вы спросите у родителей, слышали ли они что-нибудь о терроризме в семидесятых-восьмидесятых годах. В стране, в нашем городе. Они наверняка ответят: нет, не слышали. Мы не давали терроризму появиться на свет, мы обеспечивали нашему народу, измученному бесконечными революциями, войнами, репрессиями, спокойную жизнь. Сейчас это называется «эпохой застоя». Ладно, пусть так. Но лучше бы сказать: эпоха спокойствия. И мы, такие, как я, платили за это спокойствие своими нервами, здоровьем, проблемами в личной жизни. А народу пришлось платить за свою безопасность частью своей свободы. Но народ получил и реальную передышку — и в этом, наверное, и был смысл моей работы, работы моих товарищей...

Пока я произносил эту высокопарную речь, девушка уже начала листать глянцевого журнальчик. Она явно скучала.

Что им до прошлого, до нашего прошлого. У них будет свое.

Если, конечно, будет хоть какое-то настоящее.

* * *

Но слова ее меня, и вправду, задели. Потому, что я часто задавал похожий в опрос и самому себе. Правда, не в такой вот «оправдательной» плоскости; желая оправдываться ни перед своими ровесниками, ни перед кем бы то ни было, у меня как-то не возникает. Тут другое.

Помнится, в отроческие годы я вышел однажды из дома на февральскую морозную улицу и подошел к долговязому тополю, который закутанная по самые глаза тетка в этот момент подстригала ножницами на длинном шесте — почти наголо, как новобранца. Подобрал несколько веточек, вернулся домой и, наполнив зеленую бутылку из-под «Жигулевского» водой, сунул их в узкое горлышко. Ветки обрадовались теплу и воде, и уже через несколько часов в бутылке появились маленькие пузырьки, предвестники жизни. Через три дня твердую кожуру почек стали пробивать зеленые иголки, а еще через несколько дней у меня на окошке был натуральный месяц май: тополь распустил свежие листочки назло февральской вьюге.

К весне ветки пустили белые ниточки корней и, когда потеплело, я высадил одну из них на дворе. А потом...потом эта веточка превратилась в высокий сочный тополь.

Лет пять тому назад я побывал в родном дворе, подходил к своему питомцу. Он, правда, сделал вид, что не узнал меня. Люди тоже так часто поступают...что ж, Бог им всем судья. Но история с тополем на этом не закончилась.

Совсем недавно я вновь заглянул в те места. Моего тополя на привычном месте уже не было, он сломался при сильном ветре. Его спилили, и на пеньке сидела маленькая девочка в красном пальтишке, положив на коленки ручки, испачканные песком. Когда она, вдоволь насидевшись, побежала в песочницу лепить свои пирожки, я подошел к пню — и сосчитал годовые кольца. Их было больше сорока. Светлый срез дерева был похож на звуковую пластинку, с ее дорожками...мелодии чьих жизней были там записаны? Может быть, и моей? Я всю жизнь торопился, стараясь не опоздать, все время куда-то спешил, то в самолете, то в поезде, то в машине, а то и в деревенских санях, сидя на пахучем зеленоватом сене, я изучал чужие жизни по маленьким эпизодам, и никогда у меня не было времени, чтобы понять свою.

Теперь у меня этого времени сколько угодно. Штатский человек.

Сидел на пеньке, оставшемся от дерева, которое я посадил в юности — и смотрел на Волгу. Смотрел как-то по-новому, а не как на привычный пейзаж. Вот так, наверное, взрослый мужик от нечего делать открывает завалявшийся где-то учебник, по которому учился его сын — и с удивлением читает забытые избитые истины. Волга впадает в Каспийское море. Москва — столица нашей родины. Партия — наш рулевой. Я когда-то поверил этому на слово. А может, стоило бы и проверить, так ли это? Я же привык все проверять, это было моей профессией...

Я все делал по правилам: посадил дерево, да и не одно, вырастил сыновей, написал книгу...но что в итоге? Дерево, которое я посадил, рухнуло от сильного ветра, мои сыновья живут своей жизнью, а судьба моих книг мне самому непонятна. Да, еще есть дом...но он построен чужими руками, понемногу ветшает и уже требует ремонта. А что у меня есть еще? Неужели только моя прежняя служба? Точнее, воспоминания о ней...

Поеду, решил я. Теперь уж точно поеду, как мечтал когда-то, помотаюсь от причала к причалу, проверю азбучные истины, узнаю, действительно ли Волга впадает в Каспийское море. А то, может, уже и нет?

То, что Москва — уже не столица СССР, я знаю точно.

* * *

Волга — это временной коридор между прошлым, настоящим и будущим. Обычный белый пассажирский теплоход, шедевр кораблестроения ГДР конца пятидесятых лет, при известной доле воображения легко превращается в машину времени. Плыви от причала к причалу — а мимо тебя будут плыть то земли русских княжеств, то царство волжских булгар, то скифские степи... Здесь, на этих необозримых пространствах, сталкивались народы и цивилизации, здесь терлись друг о друга гигантские тектонические плиты — а на местах соприкосновения вспыхивали, как искры, жестокие схватки, сменяющиеся редкими временами покоя...

Лет тридцать тому назад на этом самом теплоходе по Волге путешествовали мои родители, тогда еще совсем не старые люди. А теперь вот, по тому же маршруту, еду я.

А кто это — я?

Если не врут биологи, люди на восемьдесят процентов состоят из воды. Наверное, и я состою из воды. Из волжской воды. Я — ее часть, ее рябь, ее волна, ее свинцовый цвет в хмурые дни, ее синева под летним солнцем и, наверное, ее память о прошлом.

* * *

В последних главах Апокалипсиса есть образ дерева жизни, реки жизни. Я много раз пытался представить себе это дерево и эту реку — и всегда у меня перед глазами вставала Волга. Много споров о том, от какого слова произошло имя великой русской реки. Ближе всего, думается мне, слово «влага», по сути — вода. Живая вода Волги и питает, и сближает уже тысячи лет многие народы...многое из того, что описано в Апокалипсисе, прогремело на этом огромном пространстве...но, кажется, еще не все?

И, вместе с тем, Волга — это всего лишь веточка упомянутого Иоанном Богословом мирового древа жизни, с редкими листиками озер и водохранилищ. По ней, по этой голубой веточке, медленно, словно муравей по волнистой коре, начинает двигаться мой кораблик, изготовленный в несуществующей уже стране.

* * *

Вскипают за бортом буруны, пенится тяжелая, с желтоватым оттенком, вода, и медленно, словно нехотя, удаляется от меня родной причал. Острое крыло чайки режет пространство, а резкий ее крик — мой слух...всё, как всегда. Но почему же тогда я так волнуюсь? Ведь я наперед знаю все повороты этой реки, все ее плесы, заводи и острова, все города, стоящие на ее берегах...

* * *

Рыбинск. Столица бурлаков. Всем нам кажется, что бурлаки — это было так давно... а давно ли? Мне рассказывала моя бабушка, что бурлаки частенько останавливались на отдых как раз напротив ее села, стоявшего на самом берегу. Они, деревенские мальчишки и девчонки, сбегались посмотреть, как эти здоровые, костистые мужики варили себе «кашицу» — так называлось основное бурлацкое блюдо, для приготовления которого использовали все, что было под рукой.

Когда каша была готова, мужики приглашали детей отведать их кушанье. Бабушка говорила, что это было вкусно.

Вот вам и связь времен, У Гамлета она распалась, а у нас — нет. Все рядом, все живо.

* * *

Шексна, электростанция, шлюзы...как мне все это знакомо!

На территории знаменитого «Волгостроя», где тысячи заключенных занимались сооружением водохранилища, появились много лет тому назад крошечные дачки служилого и рабочего люда, сделанные Бог знает, из каких материалов. Люди, в

большинстве своем недавние выходцы из деревни, мертвой хваткой вцепились в эти неудобные участки. И на наших нищих рынках вскоре появились невиданные прежде клубника и смородина, а потом и местные кисловатые яблоки.

К этим дачам примыкали небольшие перелески, куда мои сверстники и я поначалу бегали собирать грибы. После каждого дождя мы находили в этих перелесках, среди молодых сосенок, белые человеческие черепа. Сколько людей осталось в этой земле? Кто их считал?

Потом мы заметили, что, кроме нас, в эти перелески никто не ходит. И мы тоже перестали, переключившись на рыбалку.

* * *

Здесь, в устье Шексны, мужик однажды при мне поймал на удочку настоящую стерлядь — небольшую, всю в горбинках, рыбину. Слух об этом быстро распространился по берегу — и вскоре вокруг рыбака собралась целая толпа: всем хотелось посмотреть на диковину.

А лет пятьдесят тому назад, как мне рассказывали родители, стерлядь была обычной добычей местных рыбаков, никаким не деликатесом.

Волжские электростанции осветили и обогрели наши города, но плата за это оказалась непомерно высокой. Может быть, скоро такой же диковиной станет обычный, полосатый с красными плавниками, окушок?

Ту стерлядку мужик так и не отпустил в воду, хоть его об этом и просили, унес домой.

А вдруг это была последняя стерлядь?

* * *

Впрочем, что — рыба...судаки и лещи пока водятся. Люди бы не перевелись.

* * *

Кораблик повторяет изгиб реки — и сквозь мерный шум двигателей вдруг становятся слышны визгливые звуки гармошки: рыбак, сидящий в резиновой лодке и обложенный стволами удочек, видимо, заскучал от бесклевья. С чувством, хотя и сильно фальши, он исполняет знаменитое «Когда б имел золотые горы...», и по всему видно, что эти самые горы он уже обменял на реки, полные вина. Аудитория у певца в эту минуту самая подходящая: целый теплоход соотечественников и иностранцев.

Вообще-то, рыбаки народ молчаливый. Но песни здесь, на реке, звучали всегда. Правда, иногда довольно неожиданные.

* * *

Тутаев... Именно здесь, в маленьком волжском городе, стоящем на высоченном обрывистом берегу, сошел однажды, давным-давно, парень с гитарой. На старинном колесном пароходе мы с приятелем возвращались из Москвы домой, было часов одиннадцать вечера, был закат, которому скоро, без всякого перерыва на темноту, предстояло стать рассветом, а парень, постарше нас лет на десять, сидел на корме и пел — песню за песней. В одной из них были слова, которые я помню до сих пор:

Неужели не вспомнишь,
Не заплачешь мне вслед?
Ну, а я буду помнить
Тебя тысячу лет...

Эти незамысловатые строчки как-то очень легли на настроение двоих влюбчивых пятнадцатилетних мальчишек — и я, улучив минутку, спросил у парня, что это за песня.

Он не ответил, продолжая петь. Ни одной из его прекрасных песен, в основном, печальных, мы никогда раньше не слышали.

Исчерпав свой репертуар, парень отложил гитару в сторону и как-то нехотя заметил, что эти песни пел его дед, офицер белой армии.

Он сошел в Тутаеве, взобрался по нескончаемой лестнице наверх, махнул нам с нее рукой — и исчез. Вместе с песнями.

«Врет, собака, — единодушно решили мы с приятелем. — Разве у врагов могли быть такие красивые, берущие за душу песни? Брешет!..»

Вот интересно, знал ли тот парень тогда, что Тутаев до Октябрьского переворота назывался Романово-Борисоглебском? Думаю, знал. Но того, что взгляд на новейшую историю России кардинально изменится уже в конце восьмидесятых — он, конечно, и предположить не мог. Просто пел красивые песни...

* * *

Странно: люди жили в те времена трудно, но почему-то не особо печалились. В праздники эта самая песня, про реки, полные вина, слышалась почти из каждого окна. Ну, и еще про удалого Хаз-Булата...две вечных темы, любовь и деньги. А сейчас, я заметил, перестали петь даже домохозяйки. Видимо, сказывается сильное загрязнение окружающей нас песенной среды.

* * *

Солнце играет на волнах — и мириады маленьких солнечных осколков вспыхивают одновременно, словно стараясь остаться незабытыми. Так и моя память: одновременно воспроизводит сотни эпизодов из моей жизни. Каждый из них, даже самый маленький, не хочет пропасть бесследно — сияет, безмолвно кричит из самого дальнего далека: я здесь!.. я есть!..

Но иногда такой вот вспомнившийся эпизодик так кольнет...

* * *

Начало перестройки. Еду в автобусе с работы, за окном стоит промозглая осенняя темень, которую с трудом растаскивают в стороны слабые лучи уличных фонарей. На коленях у меня лежит дипломат — далеко не новый, но все еще достаточно элегантный, отливающий черным блеском. В таких дипломатах обычно возят важные документы.

У меня, правда, там лежит всего лишь кусок красноватой колбасы, до ставший по случаю, да еще свежие газеты, переполненные радостью по поводу идущих в стране демократических процессов.

Напротив меня сидит хмурый мужичок с лицом, выдающим регулярно пьющего человека. Поэтому возраст мужичка для меня загадка: ему тридцать? пятьдесят?

Он долго, с ненавистью смотрит на мой дипломат и неожиданно говорит, кривясь:

— Скоро мы таких, с дипломатами, резать будем.

— А за что? — интересуюсь я, уже готовый ко всему и очень сожалеющий, что со мной нет моего доброго друга «Макарова».

— А так...нечего тут! — отвечает он и, провожая меня ненавидящими глазами, выходит на своей остановке.

Энергия злобы. Она накопилась и искала выхода.

Где она прорвется? на кого выльется? Этого тогда не знал никто.

* * *

Впрочем, и в те времена немало находилось поводов для улыбки...Даже напрягаться не приходится, чтобы вспомнить митинг на стадионе в Ярославле: стоит перед глазами. Народу тогда собралось — как на футбольный матч. Для одних это был способ выяснить

политические позиции, для других — бесплатное шоу, каких раньше не видывала советская публика.

Небо хмурится, но народ стоит плотно, уходить не собирается. Выступает известный борец с коррупцией того времени, ныне прочно забытый Тельман Гдян. Рядом с ним, таким великим, наши местные политики чувствуют себя неуютно — и неприкаянно стоят рядом, не зная, чем занять себя. Начинает моросить мелкий дождь, но слушатели, увлеченные пламенной речью обвинителя узбекской мафии, этого не замечают. Зато в рядах местных политиков возникает оживление: один из них, быстренько куда-то сбегав, приносит с собой большой черный зонт. Раскрыв его над оратором, он стоит рядом с заезжей знаменитостью все время, пока эта знаменитость громит коррупцию.

На лице начинающего политика написано абсолютное удовлетворение своей ролью. Кажется даже, что этот человек нашел, наконец-то, свое настоящее место в политической жизни.

* * *

Совсем недавно я попал на очередную политтусовку. Бросилось в глаза, что сегодняшние юные демократы — все поголовно в модных галстуках красного цвета. Раньше такие галстуки носили комсомольские боссы разного калибра.

Нынешние функционеры, судя по их розовощеким лицам и умненьким взглядам, тоже были бы в те времена комсомольскими активистами. Но им доста лась другая эпоха.

Другое время — другие песни. Пристрастие же к подобным галстукам — это, наверное, что-то глубинное, генетическое...

* * *

Пароходик, прицелившись, медленно подползает к Костромскому причалу. С Волги город выглядит так же, как и на старинной, в вензелях, коричневой открытке столетней давности, только огромные мраморные постаменты, на которых когда-то стояли фигуры царей, давно уже сменили постояльцев. На берегу я по привычке отрываюсь от нашей экскурсионной группы, хотя успеваю еще с почтением осмотреть вместе со всеми памятник Ивану Сусанину — первому, как шутят костромичи, экскурсоводу, водившему по здешним краям иноземных туристов и спасшему таким вот путаным путем русскую государственность. С тех пор иноземцы не часто посещают Кострому, а если уж и нагрянут — то не со злом, а с добром. С долларами, то есть.

Брожу у реки, кидаю в воду плоские камешки, пытаюсь, как в детстве, «испечь блины», останавливаюсь, вдыхая запах свежего волжского ветерка... Среди камней, нагретых полуденным солнцем, нахожу позеленевшую от времени медную монетку. Полушка, половина копейки. Да, крепок был российский рубль, раз даже копейку приходилось располовинивать...

Крепок был и советский рубль. Только вот ни российская империя, ни советская держава не устояли, рассыпались...а в чем причина? Только ли в экономике?

Может, каждое государство, как и человек, имеет свой предельный возраст? За ним — небытие, распад...но и новая жизнь?

* * *

Я часто вспоминаю те времена — когда единое, как нам тогда казалось, тело советской державы вдруг начало трескаться — и трещины эти на наших глазах становились все шире, все черней. Правда, многие детали уже затерялись в глубинах памяти — и все «перестроечные» годы слились для меня в один бесконечный рабочий день: митинги, демонстрации, забастовки, озлобленные лица людей, уставших от нехватки самого необходимого, угроза потери контроля над ситуацией — вполне реальная угроза, которая могла привести к крови на улицах наших городов...Да, нам было тогда не до цвета галстуков.

Поистине историческую фразу произнес в те дни наш генерал, которому предложили «использовать силовые методы»:

— Казаков у меня нет.

Да, были только мы. И мы работали тогда, чтобы предотвратить гражданскую войну, последствия которой в стране, обладающей ядерным оружием, были бы страшными. Как знать, не появились бы тогда вновь на нашей земле вооруженные иноземные экскурсанты? И помог бы здесь Иван Сусанин? Не знаю...

В те времена мне немало пришлось поездить и повидать. Особенно остро запомнилась Украина: шествие по Киеву ряженных казаками мужиков в синих шароварах и расписных рубахах. У каждого бутафорская шашка на боку, каждый славит каких-то неведомых атаманов... С моим акцентом на сборищах этих мужиков лучше было не появляться. Но помню я и искренние слова обычных, не ряженных людей: «Неужели Россия бросит Украину?»

Треснула огромная держава по искусственно проведенным когда-то границам, треснула на куски, большие и маленькие. И полетели, отдалившись друг от друга, осколки великой цивилизации в безграничном космосе — каждый по своей орбите. И страшно им лететь поодиночке, и опять они начинают потихоньку приближаться друг к другу... но, приблизившись, отталкиваются вновь...

* * *

В большом городе Западной Украины, куда я попал всего-то на денек, в магазине польской парфюмерии с названием «Урода» (что в переводе, как оказалось, означает свою противоположность — «красота»), купил в подарок любимые советскими женщинами духи «Быть может». Спросил шутя, что означают и эти слова. Оказалось, они означают «да». А совсем не «может быть», как я предполагал. Все у них как-то не так...

Девушка-полька, с веснушчатым круглым лицом простолюдинки и в каком-то несуразном, по моим понятиям, деревенском платье, обращая ко мне, назвала меня «паном».

Я и «пан» — вещи совершенно несовместные. Но, чтобы сделать ей приятное, я ответил единственной фразой по-польски, которую когда-то выучил:

— Есче польска не згинела!

Она улыбнулась кокетливо, как умеют улыбаться девушки только двух стран, Польши и Франции — и как-то очень смиренно ответила по-русски, но с легким польским акцентом, заменяя «л» на «в»:

— Не сгинева, конечно. А если и сгинет — вам что?

Я подумал: и действительно...

Вот только как быть с полонезом шляхтича Огинского? Эта волшебная музыка вечно будет звучать в душе русского народа. Даже только поэтому Польша никогда для нас не сгинет. Быть может...

Удивительный зигзаг истории: впервые за несколько столетий у нас с поляками почти не осталось общей границы. Единственная маленькая калитка — в Калининградской области, оторванной от остальной России.

Может, так спокойнее? И им, и нам... История развела нас.

* * *

Опаздываю на поезд. До Калининграда осталось сорок километров, в запасе у нас тридцать минут. Едем на оперативной машине с опытным водителем, но, как мне кажется, медленнее, чем могли бы.

— Что вы так скромничаете? — спрашиваю прапора, сидящего за рулем.

— Да вон... последних солдат вермахта боюсь...

— Вермахта?

— Да вон они, вон!.. Целый полк, не меньше.

Он кивает головой на строй вековых деревьев с огромными кронами, стоящих плотной дисциплинированной шеренгой вдоль узкой дороги.

— Пруссаки когда-то посадили...народу тут бьется много, чуть недоглядел — и воткнешься.

На поезд мы попали за две-три минуты до его отхода. Солдаты вермах-та — противник серьезный, даже если это всего лишь деревья вдоль дороги.

* * *

В маленьком уютном городишке русской Прибалтики, которая раньше была Восточной Пруссией, чувствуешь себя так, словно попал в царство стариков. Немецких стариков: повсюду гуляют группы старых и очень старых немцев. Они подходят к домам, утопающим в цветниках, подолгу смотрят, трогают облупившиеся стены. Потом медленной шаркающей походкой уходят к своим сияющим дворцам, которые лишь с оговоркой можно назвать автобусами.

Пожилая длинноносая дама с недовольным лицом спросила у меня на очень плохом русском, как найти нужную ей улицу. Объяснила, что ищет дом, где она ро дилась и жила с родителями до войны. Старый опрятный немец стоял рядом, но ничего не говорил. Судя по всему, призывник 1941 года. Может быть, он и вспоминал русский язык...но только вот ничего, кроме «Хэнде Хох» или «Гитлер капут», не мог вспомнить.

Еще один последний солдат вермахта. Но уже не опасный. Наши отцы постарались.

* * *

Когда заришься на чужой дом, всегда есть риск потерять свой. Но я не стал этого им говорить...да они бы и не поняли меня.

А где та улица, которую они искали, я не знал. Честно говоря, и знать не хотел.

* * *

Тогда меня почему-то поразило сходство этой дамы с вороной, которую однажды я увидел на березе посреди ячменного поля, покрытого голубыми пятнышками васильков.. Длинноносая, она сидела на сухой ветке и, изредка поворачивая голову туда-сюда, время от времени недовольно каркала, по -французски грассируя.

Я тогда подумал: может, эта ворона прилетела сюда из Парижа? Ей явно было тут не по себе, как-то одиноко. Да и акцент у нее был явно не вологодский... .

* * *

Птицы пока летают через границы свободно. Не поэтому ли известная литературная героиня и вопрошала: «Почему люди не летают?»

* * *

Мечты о свободе...как странно они иногда воплощаются в жизнь, я увидел в те времена воочию. Через территорию бывшей советской Эстонии, крохотной частички планеты СССР, мы ехали, как Ленин с соратниками через Германию — по сути, в таком же запломбированном вагоне. На границе в вагон зашли несколько элегантных девиц, одетых в кокетливую форму. Изо всех сил изобра жая полномочных представителей иностранного государства, они произвели визуальный осмотр нашего багажа. Впрочем, никуда особо не совались и ничего не трогали — Эстония тогда еще не вошла в НАТО. Но уже входила во вкус.

Теперь уже, кажется, вошла оконч ательно. И туда, и сюда.

* * *

Из окна вагона я увидел неторопливо бегущую лису, очень похожую на облезлый рыжий воротник, удравший от пальто. Эстонскую лису. Полностью независимую.

* * *

Отходим от Костромы. Матрос с причала, отвязав канат, б росает его на борт нашего теплохода, канат не долетает. Эх, неумеха...

В нашем небольшом волжском городке, когда хотели подчеркнуть никчемность парня, говорили: «Ну, этот чалочником будет». Имелось в виду: хуже уж ничего и быть не может. А между тем, именно от чалочника зависит, надежно ли стоит корабль у причала, или его легко отнесет шальной волной и ветром — и трап вместе с людьми грохнется в воду...спасай потом!

Нет, не правы были те, кто считал эту профессию пустячной. У нашего российского причала пришвартовалось в свое время много кораблей, да вот чалочники оказались никудышными — ненадежно закрепили канаты за крюки. Подул западный ветер, погнал волну — и ослабили канаты, и задрейфовали корабли, каждый сам по себе.

Правда, некоторые говорят: это временно, поплавают-поплавают, да и опять причалят к нашему берегу, ведь у других причалов их не ждут.

Именно такую мысль высказал однажды мой знакомый, заядлый рыболов, любящий посидеть с удочкой неподалеку от причала. У него как раз клев ало и настроен он был оптимистически.

В прошлом этот любитель поудить был капитаном небольшого волжского пароходика, и в молодости начинал, как все моряки, чалочником. Заканчивает, правда, уже как все люди — философом.

* * *

Вот уже и Кострома скоро скроется из виду. Она на глазах становится все меньше и меньше, в конце концов, опять суживаясь до размеров старинной открытки. Интересно, где именно кинулась тут в воду Катерина из пьесы Островского? И неужели так смертельно любили в прежние времена? Нынешние девушки гораздо практичнее — и в аналогичной ситуации обошлись бы парой бутылок пива.

А может, это и не так? Может, всем им и во все времена, как и Катерине, смертельно хочется любить и быть любимыми?

* * *

Вообще говоря, женщина всегда останется загадкой для мужчины. Сколько уж раз я убеждался в этом, а все никак не привыкну. Однажды в Финляндии произошел совсем уж удивительный случай...

Молодой и высокий финн, одетый так, как одеваются все женихи мира, стоял рядом со своей невестой перед новеньким, с иголки, собором. Лицо у парня — абсолютно никакое, то есть все на месте, но запомнить невозможно. Невеста несколько полновата, а личико примерно такое же, как и у жениха. Парень как-то растерянно поглядывал по сторонам, словно искал кого-то, невеста смотрела прямо перед собой, не отвлекаясь.

И тут из группы наших туристов, глазеющих на финскую свадьбу, вперед вышла самая красивая — совершенно неотразимая, прямо блоковская! — молодая женщина. Она знала свою силу, силу красавицы, какие в той стране не водятся — и, перехватив восхищенный взгляд жениха, уже не отпускала его.

Молодой финн смотрел на нее, не отрываясь...и тут произошло нечто совсем уж неожиданное: повернувшись всем телом, словно гвардеец перед входом во дворец английской королевы, он безнадежно махнул рукой и начал медленно уходить, удаляться.

Невеста недовольно посмотрела ему вслед, но не двинулась с места. Жениха, однако, тут же догнали два парня и после минутных переговоров возвратили на место.

Мы к этому времени уже сели в свой автобус и вскоре уехали, так и не увидев, что же там было дальше.

— Зачем вы так смутили парня? — смеясь, спросил я нашу красавицу, — вы ж чуть жизнь ему не разбили...

Она посмотрела на меня своими огромными карими глазищами и грустно сказала:

— Вы не поверите, но он мне понравился. За такого бы я и замуж пошла, не задумываясь. Как красив!

Тогда я точно понял, что разбираюсь только в женской красоте. А вот моему соседу Гоше понравилась как раз финская невеста, он ее вспоминал целы й день, надоел всем.

* * *

Впрочем, что такое — день? Некоторых женщин можно вспоминать всю жизнь...

* * *

Маленькая, подсвеченная полуденным солнцем, волжская пристань. Мы с приятелем только что сошли с речного трамвайчика — веселые, возбужденные. В руках у нас — корзины, полные грибов; роскошное разноцветье шляпок мы нарочно не стали закрывать березовыми ветками — пусть все видят, сколько набрали! Генка незаметно включил транзисторный приемник, который лежал у него в кармане куртки — и на всю пристань понеслось:

Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость...

Народ оглядывался на нас, а мы, очень довольные произведенным эффектом, шествовали важно — грудь вперед...и тут вдруг мимо нас прошла, обдавая каким-то нездешним ароматом, девочка лет четырнадцати-пятнадцати, красоты необыкновенной. Прошла мимо, даже не взглянув на двух мальчишек, одетых в промокшее старье и черные резиновые сапоги.

На берегу ее ждал взрослый мужчина, видимо, отец. Она села в новенькую, сверкающую никелем «Волгу» — и умчалась от нас...

Генка посмотрел на меня своими печальными украинскими глазами и внезапно сказал:

— Алик, давай назовем ее — Фаэтон.

Это имя носила, как считали тогда, планета Солнечной системы, од нажды разлетевшаяся на астероиды и исчезнувшая навсегда.

Я молча кивнул.

* * *

Лет через двадцать мы встретились с Генкой у него дома.

— А помнишь Фаэтон? Ну, ту девчонку... — спросил я.

Мой друг угрюмо посмотрел на меня, на свою неб огатую комнату, всю завешенную детскими пеленками — и молча налил мне стакан водки.

Он помнил, конечно.

* * *

Мы обегали тогда весь город, в надежде где-нибудь ее встретить. Но нет: сверкнула и исчезла в каком-то своем космосе, куда нам явно был о не долететь...

* * *

Но еще задолго до нашей с Генкой грустноватой встречи, однажды поздней осенью, у самого берега Волги я увидел зеленую лодку-плоскодонку и парочку в ней — мужчину и женщину. Женщина сидела спиной ко мне, потом повернулась в профиль — и у меня защемило сердце: она? Не она?

На носу лодки стояла длинная вытянутая бутылка сухого вина и два белых, легких пластмассовых стаканчика, которые осенний ветер норовил сбросить в воду, — но мужчина вовремя их ловил. Я шел мимо и видел, как он разливал вино, как эти мягкие стаканчики продавливались под его пальцами, я слышал, как оба они, — и мужчина, и женщина, — вполголоса напевали песню о косых дождях. Видно было, что им хорошо вдвоем, но почему так грустно?

И мне...и им...

Это было как секундное вторжение в параллельный мир, где люди похожи, но все иначе. В мужчине, сидевшем в лодке рядом с Фазтон, я узнал чуть повзрослевшего себя.

Там все сбылось...

* * *

Количество энергии в природе — постоянно, если, конечно, физики не врут. Но любовь — ведь это тоже энергия!

Куда же она убегает? По каким проводам? К кому?

* * *

Всю ночь льет дождь. Утром я выхожу на скользкую палубу и вдруг вижу в небе сразу три радуги: одна яркая, четкая, другая — послабее, а третья еле просматривается.

Завороженный, как будто увидевший чудо, я люблюсь на эти огромные, семицветные арки, зависшие над показавшимся вдали Нижним Новгородом. Стою и смотрю, пока они не растворяются в небе.

* * *

Нижний...единственный город, от старого названия которого — Горь-кий — мы все очень быстро отвыкли. И то правда: ну, какой он, к черту, «горький», этот волжский красавец? Скорей уж, Ален Делон в молодости...

* * *

Местный кремль почему-то напичкан разным оружием времен Великой Отечественной: танки, пушки, зенитки. Но в стороне, в центре, есть мирный уголок, где у старинного старообрядческого креста, окруженного со всех сторон современными зданиями, стоит группа староверов. Они истово крестятся двумя перстами, не обращая внимания на смотрящую на них во все глаза толпу туристов и просто зевак.

Среди молящихся много молодых людей. Как, должно быть, далеки они от стоящих рядом их сверстников!

Две эпохи мирно сосуществуют друг с другом, но молятся разным богам.

* * *

Площадь в Нижнем — та самая, где Минин и Пожарский собирали ополчение — маленькая и тесная. Именно здесь долго и нерешительно топталась в свое время история России: то ли двинуться, то ли еще погодить. А потом все -таки двинулась вперед, на Москву.

Польский король так и не стал тогда русским царем. Получилось, со временем, даже и наоборот.

* * *

«Нет ничего дороже независимости и свободы» — это сказал однажды маленький, худой вьетнамец с тощей бородкой, дядюшка Хо, заставивший и французов, и американцев уважать свою крохотную страну.

Мы, русские, тоже непобедимы, когда отстаиваем свою независимость. А вот свободу...на свободу у нас еще не выработался общенациональный взгляд. Слишком по-разному мы понимаем ее, свободу.

Кажется, и она нас понять никак не может. Пока.

* * *

После того, как председатель правительства СССР Алексей Косыгин, благополучно поохотившись, уехал, я с группой офицеров-коллег возвращался домой. По дороге, естественно, затормозили у сельмага. Пока стояли в очереди, парень из местных рассказал то ли быль, то ли анекдот об этом селе: будто бы после реформы 1861 года тут поселились отпущенные на волю дворовые люди из близлежащих помещичьих усадеб. Отвыкшие за время пребывания в барских покоях от тяжелого крестьянского труда, они, получив свободу, сначала занялись, кто чем: одни — торговлишкой, другие — промыслами...только вот дело ни у тех, ни у других никак не задавалось. Привитая за долгие годы уверенность в том, что «барин прокормит», сыграла с ними дурную шутку.

Не похожи ли и мы сейчас на бывших дворовых из того живописного, но порядком подравлавившегося села? От самостоятельности отвыкли, а доброго барина рядом уже нет.

Ну да, как говорят на Руси, нужда научит горшки обжигать. Только вот барина бы не надо...

* * *

Именно в тот год кругом полыхали лесные пожары, голубая дымка окутала город — и в безветренную погоду дышать становилось тяжеловато. Нас с коллегой, молодых лейтенантов, откомандировали на изучение обстановки в одном из районов. В первом же горящем лесочке мы этим и занялись.

Я сошел с дороги, чтобы посмотреть, где и что горит — и тут же по колено провалился: оказывается, почва снизу вся выгорела. Никто нас не предупредил, что там, где есть торфяники, такое возможно. Бог меня упас...

Больше с накатанного пути мы не сходили. Через час заехали в деревню, что стояла по дороге, домов эдак на двадцать. Вокруг нее с двух сторон уже всю горел лес, но никто даже не пытался его тушить. Председатель колхоза, пожилой мужик, не опуская глаз перед нашими натренированно-суровыми взглядами, на вопрос, почему он ничего не предпринимает, ответил коротко:

— А кто платить будет за работу?

По молодости лет, мы несколько оторопели. А потом промямлили:

— Так ваш же лес, вы же тут живете...

— Наш, — усмехнулся колхозный вожак, — наш, конечно...

Он еще немного постоял вместе с нами, а затем неторопливо пошел скликать народ.

Для контроля мы заехали в эти места на другой день: чумазые, потные мальчишки в курсантской форме споро окапывали тлеющий лес. Местных колхозников мы там так и не увидели.

Мне тогда подумалось: в этой деревне тоже, наверное, жили потомки дворовых людей. А кривая усмешка председателя долго еще не выходила у меня из головы. Как и его согласное покачивание головой: наш лес, конечно же, наш...

* * *

Похожих случаев на моей памяти даже несколько. Однажды большую группу наших офицеров — от лейтенантов до полковников — вывезли в другой колхоз, косить траву. Мы, понятное дело, долго ворчали, рассуждая о том, что трава, скошенная высокооплачиваемыми сотрудниками КГБ, будет поистине золотой. Однако, когда вышли в поле, когда увидели росистое русское разнотравье и вдохнули запах полевых цветов, недовольство наше исчезло, взялись за работу.

Истинные горожане, косить мы, конечно, совсем не умели: тупые, неотбитые лезвия только гладили траву, наши косы то и дело втыкались в землю...но приказ есть приказ,

травы для несчастных колхозных коров мы накосили тогда много. Правда, и косы почти все переломали.

Представители коренного населения, спеша мимо нас по своим, крайне неотложным делам, сердобольно давали нам разные полезные советы, а некоторые даже говорили сердечное некрасовское спасибо. Но косу в руки, помнится, никто из них так и не взял.

Полусладкое словацкое вино, в изобилии обнаружившееся в местном сельмаге, несколько примирило нас с суровой колхозной действительностью и снизило уровень наших критических высказываний относительно организации труда в отечественном сельскохозяйственном производстве. Но на косьбу нас больше не посылали: ведь и орудия труда мы переломали, и сельмаг оставили без товара.

Следующий наш выезд был на морковь. Тут дело пошло спорей: копать — это по нашей части.

* * *

Вот и сейчас копаюсь — но уже в собственной памяти, пытаюсь вспомнить хоть что-то о Чувашии, чьи земли мы сейчас проплываем. Ничего не помогает. Как бы сейчас пригодилась мне любимая когда-то книга «Основы этнографии» — валяется где-то на даче, всеми забытая...

Ну, да ладно, сам все узнаю. Сойду сейчас на пристань, шагну в город Чебоксары — разноцветный, словно сложенный из детских кубиков руками веселого и некапризного ребенка...

* * *

Серое бетонное ограждение на чебоксарской набережной все сплошь исписано призывниками, уходящими в армию. Последнюю свою ночь перед отправкой они посвятили этой разновидности художественного творчества: в ход шли и баллончики с краской, и разноцветные фломастеры, и простые шариковые ручки.

Но это не «Стена плача», а стена признаний в любви, стена клятв в верности.

Самая лаконичная надпись — такая: «Коля ушел на фронт. Октябрь, 2001 год».

Послания в вечность. Забор шедевров.

* * *

«У каждого поколения должна быть своя война». Это слова Мао, сказанные им во времена культурной революции.

Неужели это сказано и о России тоже?

* * *

Войны, войны...видывал я людей, выживших аж в нескольких войнах. Дед Андрей, наш деревенский сосед, ветеран гражданской, финской и Второй мировой, дожил до девяноста с лишком. Большой говорун, он на полном серьезе рассказывал нам, мальчишкам, как сам Буденный поменялся однажды с ним боевым конем. Но любимой его темой была ловля щук «на кулак». Зимой, когда бочаги в нашей маленькой речушке покрываются прозрачным льдом, щуки, оказывается, стоят у самой кромки льда. Тут-то, по словам деда, их и надо брать — то бишь, оглушать мощным ударом кулака по льду. После такого удара щука долго не понимает, что к чему в этой жизни — и времени вполне хватает, чтобы сделать прорубь и достать оттуда рыбину, травмированную физически и морально.

Когда дед это рассказывал, он всегда смеялся. И я улыбаюсь теперь, вспоминая его рассказы — хотя тогда принимал все это за чистую монету.

Впрочем, кулаки у него, бывшего кузнеца, были здоровенные, как кувалды. Да и щуки в бочагах водились, я сам их видел.

А врагам деда не позавидуешь: все три войны он выиграл. Правда, с потерями: и самого ранили, и сына убили.

* * *

И жестокими, и мстительными мы можем быть, если доведут нас. В детстве я был свидетелем одного случая — очень показательного, на мой взгляд. Один наш поселковый мужик чуть не год охотился за крысой, которая жила у него в сарае и грызла все подряд — от продуктов питания до старой мебели. Ну, ладно, мебель — а продуктов было очень жалко, доставались они тяжело.

Чем он заманил ее в клетку, никто не знал — но, видимо, жадность крысы оказалась сильнее ее осторожности. Он решил утопить ее, не вынимая из клетки, и смотреть на это сбежался весь наш двор.

Крыса была огромной, размером с кошку, чуть разве поменьше, у нее была вытянутая злая морда и длинный голый хвост. Когда мужик погрузил клетку в канаву с водой, злобная тварь заметалась с такой силой, что чуть не расшибла тоненькие деревянные плашки. Но мужик был настолько пропитан ненавистью к ней, целый год безжалостно грызшей его добро, что не утопил сразу, а время от времени поднимал над водой, давая подышать.

Экзекуция длилась больше часа и всем порядком надоела. Крыса уже выдыхалась, но билась за жизнь до последнего.

В конце концов, отойдя сердцем, мужик выпустил ее, полуживую, на свободу. Немного отдышавшись, хвостатая шельма медленно побежала прочь.

В сарайке у этого мужика — мы потом специально интересовались — крысы больше не заводились...

* * *

Ненависть вообще помнится долго, гораздо дольше, чем любовь. И о своей любви, и о любви ко мне многих людей я забыл, а вот о ненависти — своей и чужой — никогда не забуду. До сих пор помню, как рослый студент факультета физвоспитания, заглянув в нашу комнату, комнату филологов, обвел всех нас мутноватым взором и предельно искренне сказал:

— Ненавижу!

После чего ушел, никак свое высказывание не прокомментировав.

* * *

Я один на корме. Вечернее солнце, отражаясь в Волге, напоминает красное моченое яблоко. Последнее в бочке.

Вечер. Вечер жизни. Но еще не закат.

* * *

Таких приветливых людей, как в Чебоксарах, я давно уже не встречал. Кажется, и город, и люди пребывают здесь в некоей гармонии — не только цветовой, но и душевной. Я не увидел ни одного злого лица.

Они, может, здесь и есть, но мне не встретились...

* * *

Становится прохладно, и я ухожу в каюту, где меня ждет ворох газет, купленных в славном городе Чебоксары. Только было усаживаюсь поудобнее, как раздается стук в дверь — и в комнату входит мой новый знакомый, человек не без странностей. Он здоровается, садится за столик и, увидев газеты, молча пододвигает их к себе. Читает минут тридцать, не замечая, что я тихо злюсь: для меня газета — как женщина. Если кто-то до меня ее читал, или хотя бы держал в руках — все уже не то...

В качестве компенсации он пересказывает мне все, что прочитал — а потом еще и подробно комментирует, обеспечивая мне тем самым, как минимум, бессонницу. Потом все же уходит, но в иллюминатор меня тут же начинает рассматривать в упор полная луна.

Откуда-то из глубин памяти совершенно неожиданно выскакивают строчки, сочиненные мною в далекой юности. Оказывается, я их не забыл.

.....
Он, ревнивец, смеялся надо мной,
Говорил мне, что я целовался
На заре с побледневшей луной.

Впрочем, первую строчку забыл-таки. И кто был тот ревнивец — для меня самого теперь загадка.

* * *

Полнолуние. В такие дни лучше молчать, избегая любых разговоров и встреч, кроме самых необходимых. Все равно ничего не получится. А если получится, то вскорости пойдет прахом. Испытано.

* * *

Луна в полнолуние — как маленькое круглое зеркальце. В него, наверное, смотрится наша Земля. Что она видит в нем? Свое лицо, покрытое оспинами кратеров? Или пытается разглядеть, кто именно ей причиняет боль — то уколами буровых установок, то ядерными взрывами, то бесконечной стрельбой?

Лишь бы не разозлилась и не смахнула нас однажды с лица, как мы стогнаем надоевших комаров...такое за миллионы лет уже, п охоже, случилось...

* * *

Ночь. Время для любви. Или для размышлений.

* * *

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, сказал поэт. А если встает утреннее солнце? Это нужно не кому-нибудь, а всем без исключения — даже тем, кому не нужны звезды. Свежий волжский ветер, как отец в детстве, гладит по растрепанным волосам, поворачивает мое лицо к берегу: «Смотри, смотри — новый город, новая жизнь. Не прозевай!»

* * *

Больше всего, все-таки, я люблю просыпаться в деревне — в деревянном, пропитанном жилыми запахами, доме. Откроешь глаза, протопаешь босыми ногами к окошку, глянешь в него — и замрешь поневоле...

Солнце еще свежее и ласковое; огромный луг весь зелен; в окно заглядывают цветы сирени, похожие на стаканчики с мороженым — розовым и белым, каким угощают детей в праздники. Вся комната залита ярким спокойным светом, вокруг стоит какая-то особенная тишина и на душе легко — как в юности, когда прожитая грешная жизнь еще не тяготит душу.

Однажды таким вот утром я встал и вышел в поле. Стоял, смотрел на дом, на лес...и вдруг мне показалось, что дому моему чего-то не хватает. Пошел к березе, стоящей в поле, срезал несколько зеленых веток — и, вернувшись к дому, украсил этими ветками голубые наличники.

И только ближе к полудню узнал, что сегодня, оказывается, праздник Троицы и что, по старинному русскому обычаю, в этот день как раз полагается украшать зелеными березовыми ветками свое жилище.

Кто меня надомил? Сам дом? Та самая связь времен, живущая во мне?

* * *

Этот дом в Ахматово я купил четверть века тому назад. Он к тому времени был уже старым, но перед названием деревеньки я не смог устоять. Я привел его в порядок, обогрел, и каждое лето проводил с семьей здесь.

Как-то, в середине июля, к дому подошел седой человек — в том возрасте, когда пожилым называть уже поздно, а стариком еще рано. Он долго стоял перед забором, над которым, словно подсвечники с ослепительно-белыми, толстыми свечами в них, освещающая нежным светом все вокруг, возвышались ветки сирени, смотрел. Потом подошел ко мне, попросил разрешения зайти внутрь. Походил по комнатам, постоял около печи, глядя ее рукой.

Догадываясь, что его жизнь как-то связана с этим домом, я предложил ему чаю. И точно, он здесь родился и вырос, а потом семья распалась и дом продали. Он приехал аж из Питера только для этого — взглянуть еще раз на родное гнездо.

Мне было крайне не по себе, как будто я что-то отнял у этого человека. Но все, о чем он рассказал, случилось еще до моего первого приезда в Ахматово.

Гость выпил чашку чая, поблагодарил и исчез из моей жизни. Выглядел он подавленно.

Наверно, я испытывал бы точно такое же чувство, случись мне самому прийти в родной дом, занятый чужими людьми. Теми, которые мне не рады и ждут, чтобы я поскорее ушел.

* * *

Пожил я в свое время по чужим углам, знаю, что это такое. Помню такой же дом, крыльцо, скрипучую дверь...В углу стояло старое, с вмятинами по бокам, ведро, на которое были накинута мои старые, все в дырках, тренировочные штаны, давно потерявшие изначальный синий цвет и ставшие половой тряпкой.

Я посмотрел на тряпку и, поняв, что в доме только что вымыты полы, снял у порога обувь. Хозяйка, только что отдышавшаяся от этой работы, одобрительно посмотрела на меня, но тапок не предложила. Так я и пошел в носках по влажному полу.

Крайне скверное занятие — сидеть в сырых носках за столом, пить плохо заваренный чай и вежливо подводить хозяйку к мысли о том, что ты заплатишь за квартиру чуть позже. Впрочем, вид моих сырых ног настроил ее на миролюбивый лад — и я тогда получил отсрочку на неопределенное время.

* * *

Чужой дом — он и есть чужой дом. Что же пенять на ту ревностную заботу, с которой мы опекали наш собственный дом, СССР, чего удивляться той подозрительности, с какой мы смотрели на каждого, кто, казалось нам, готов хотя бы только наследить в нашем доме...

Мы хотели уберечь его от участи планеты Фаэтон, не допустить взрыва и распада на астероиды с такими родными названиями: Украина, Белоруссия, Эстония...а дальше припомните сами, вы же все помните. Пока помните...

Не удалось.

* * *

Тот взрыв, от которого мы еще толком не оправились, был настоящим. Но были и мнимые угрозы. За несколько часов до начала партийной конференции поступил анонимный звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. Время было еще относительно спокойное, и в душе никто из сотрудников нашего отдела не верил, конечно, что опасность реальна — но мы проверили все здание, сантиметр за сантиметром. Ничего подозрительного не обнаружили, о чем и доложили начальству, как собственному, так и партийному. Все успокоились, хотя чувство тревоги все же оставалось — по крайней мере, у меня.

Делегаты спели «Интернационал» — и тут вдруг в зале погас свет.

«Вот и началось...» — мелькнуло в моей голове.

Но через пару секунд включился резервный свет, и конференция пошла намеченным путем. К чести партийных лидеров, никто из них не ушел из-за стола, все остались на своих местах.

Причину отключения энергии мы выяснили через полчаса — виновата была ворона, залетевшая в помещение подстанции.

Не та ли, картавая, из Парижа? Одинокая, несчастная, всем недовольная...я тогда, помню, с улыбкой сказал:

— Дельфины-диверсанты уже есть — почему бы не быть и воронам? Тоже, говорят, умные создания...

* * *

Тогда мы долго смеялись в своем кругу по поводу вороны-диверсантки. И вообще, народ у нас в конторе в те времена был, кажется, повеселее, чем нынешний: любили мы похохмить, подшутить друг над другом...

Характерный анекдот той поры, который в нашем кругу выдавался за б ыль. Мне его рассказали сразу же, как только я приступил к работе — в профилактических целях.

Молодой сотрудник компетентных органов, только что приступивший к несению службы, видит старшего товарища, внешний облик которого полностью совпадает с киношным образом контрразведчика: хорошо сшитое импортное пальто, шляпа со слегка приподнятыми полями, темные очки... Джеймс Бонд, да и только!

— Иван Иванович, — не без зависти спрашивает молодой, — вы так хорошо одеты...наверное, за границей работали?

Старший товарищ недоуменно смотрит на младую поросль:

— А ты что, не получил еще? Это же наша штатская форма! Садись и пиши рапорт. Диктую: «в целях конспирации прошу выдать мне пальто, шляпу и черные очки...»

Молодой принимает все это за чистую монету — и отдает бумагу секретарше, для передачи по инстанции...

Концовки этой истории были у разных рассказчиков разные, но оптимистичной не было ни одной.

* * *

...Далекие от службы мысли посещали нас иногда в самых неподходящих местах. Когда, например, я первый раз в жизни стрелял из «Макарова», то почему-то подумал о дуэли Пушкина с Дантесом...не потому ли все пули у меня тогда ушли в «молоко»?

Когда берешь в руки оружие — вредно думать о литературе.

* * *

Чем ближе к Казани, тем сильнее жара. Начинаешь понимать, что ты скорее на юге, чем на севере. Как хорошо, что эпоха дефицита уже позади: прямо на пристани торгуют холодным казанским пивом. И никаких очередей!

* * *

Вот и Казань. Она, оказывается, совсем недалеко. А я -то думал...

Бросается в глаза непривычное для нас сочетание двух цветов — зеленого с красным...прямо, как чай с солью! Хотя, если вспомнить, то на старинных вышивках в пошехонских деревнях я встречал именно это сочетание цветов.

* * *

Старинный православный храм — а напротив стоит только что построенная мечеть. Это соседство, как мне показалось, здесь никого не раздражает. За пятьсот лет мы с татарами стали практически одним народом.

Красивая татарочка, лет двадцати, прошла только что мимо нашей группы — и мужчины на время перестали интересоваться храмами, и вообще стариной...Как ей к лицу национальный наряд! Есть женщины...и не только в русских селеньях.

* * *

Женщинам вообще всё к лицу — с этим тезисом нам, мужчинам, надо примириться раз и навсегда.

Я понял это очень-очень давно — когда однажды девушка, стоящая рядом со мной, заплакала. Заплакала оттого, что я, по неизжитой тогда еще привычке говорить правду везде и всегда, на вопрос, идет ли ей эта шляпка, ответил: «Не очень».

С тех пор я научился совершенно искренне восхищаться всем, что надевает на себя женщина. И ни разу не сказал неправду. Им все идет!

А есть такие виртуозы слова, что аж завидки берут...

С известным питерским поэтом (точнее, ленинградским) мы как -то прогуливались по нашему городу, ведя умную беседу о литературе, о том, о сем...Вдруг подняли глаза и увидели: к нам приближалась женщина из тех, которых принято называть крупногабаритными; платье в обтяжку подчеркивало нестандартный рельеф ее фигуры.

Мой спутник остолбенел, словно встретил саму Музу. Когда женщина поравнялась с нами, он произнес только одно, но очень, по -моему, уместное и точное слово:

— Восхищаюсь!

И она это явно услышала.

* * *

Впрочем, женщины, чаще всего, слышат очень избирательно. Помню своего попутчика, соседа по купе. Женщина, ехавшая с ним, была заметно старше своего спутника — и, похоже, очень гордилась этой разницей в годах. До такой степени, что не стеснялась выставлять напоказ свои чувства.

— За что ты меня любишь? — вдруг, ни с того ни с сего, спросила она его.

Я собирался поневоле выслушать столь же романтическую и столь же показную исповедь, но мужчина повел себя как -то странно. Отколупнув от черствяющего каравая корочку, он допил остатки коньяка из своей рюмки, бросил корочку в рот и, медл енно прожевав ее, начал, вроде бы, очень издалека:

— Ты же знаешь, я всегда интересовался антиквариатом...Парфенон...пирамиды...

Она не дала ему договорить, закрыв рот поцелуем. Оторвавшись, наконец, от своего избранника, воскликнула:

— Ой, ты у меня такой начитанный!.. такой умный!..

* * *

Упаси Бог, я никого не осуждаю. Если человек радуется чему -то — это прекрасно. Не так уж много их в нашей жизни, радостей. Все -таки, все люди очень одиноки. Как ни жмутся они друг к другу, спасаясь от этого одиночества, а все равно одиноки. Почти всегда и почти везде.

Так что, зря он ее обидел — да еще при незнакомом человеке, при мне. Как, помнится, писал русский мыслитель Розанов, «тот, кто не любит человека в радости его — не любит его вообще».

* * *

Книгу Розанова «Русский Нил» дал мне в это путешествие мой приятель, провинциальный литератор. «Василь Васильич, — сказал он, — тоже плыл по Волге. Читай — и сравнивай: много ли изменилось за сто лет?»

А что могло измениться? Тот же Розанов замечает, что в маленьких поволжских городках быт в девятнадцатом веке уже чуть-чуть не тот, что в веке семнадцатом. Но именно чуть-чуть... Это почти за триста лет!

А в двадцать первом — есть изменения? Если говорить о технике, о новостройках — изменения, конечно, разительные. А если о быте, о привычках, о поведении людей — то вряд ли что-то изменилось кардинально.

Может, в этой устойчивости быта и заложена основа крепости нашего народа?

* * *

Неожиданная, но актуальная мысль из «Русского Нила»:

«Очевидно, Приволжье, Приуралье, Черноморье, Кавказ, Балтика — вот естественные края и земли, вот великие землячества, из которых состоит великая Русь».

Тот, кто сегодня решил укрупнять российские регионы, тоже, наверное, читал Розанова. Полезное чтение, особенно для лидеров и вождей.

* * *

Советская Мекка — Ульяновск...к сожалению, сильно пообветшавшая. Да и паломников поубавилось. Но здесь все до сих пор пронизано именем Ленина и его родных...местные жители этого не замечают, а вот человеку, впервые попавшему в этот город, становится немного не по себе. Нельзя кушать один и тот же борщ три раза в день.

Когда экскурсовод стал называть и другие фамилии — Карамзин, Керенский — мне стало как-то легче. И тут же подумалось: да, немало великих людей родила эта земля...

А невеликие? Их бы тоже не надо забывать.

* * *

Впрочем, имена невеликих людей тоже иногда выбивают на камнях. На тех, что на кладбищах.

* * *

Очередной музей, бюст «вождя революции»... Память? Анахронизм? Игра в оппозицию?

Сразу вспомнился один казенный сарай, сквозь дырявую крышу которого на многочисленные гипсовые головы разных вождей падали капли осеннего дождя. Сколько эти головы видели и слышали разных слов: и обличений, и обещаний, и клятв...

И вот итог — дырявый сарай. Несправедливо как-то...или справедливо?

* * *

Отличительная черта всех вождей — общение с людьми через посредников. Мой коллега рассказывал: бронированный вагон Ким-ир-сена остановился на запасном пути, постоял немного, — а незадолго до отправки из него вышел заспанный корейский генерал. Подойдя к группе офицеров, осуществлявшей охрану с нашей стороны, генерал бесстрастно-четким голосом сказал по-русски, с едва заметным акцентом:

— Великий вождь, стальной полководец, маршал, товарищ Ким -ир-сен благодарит вас. Затем повернулся на каблуках и удалился.

Они подражают богу, говорившему с людьми через пророков.

* * *

Всякая власть от Бога, говорят знатоки Библии. Но Бог справедлив, милостив и добр. А власть? Может быть, она всего лишь должна обеспечить людям возможность быть добрыми и справедливыми? Добрыми и справедливыми, как сам Бог...

* * *

В баре душновато, и я выхожу с фужером в руке на палубу. Пасмурно, плотные белые облака закрывают солнце...но как, оказывается, просто увидеть все в другом освещении. Стоит только взглянуть на мир через стекло бокала со светлым виноградным вином — и все кругом становится солнечным.

В светлое пространство бокала медленно всплывает изображение огромного города — того самого, куда в войну переехало правительство и куда, говорят, даже перевезли мумию вождя. Ну, нет покоя Владимиру Ильичу — ни при жизни, ни после жизни!

* * *

Наши города, как разведчики, любят жить под чужими фамилиями. Рыбинск — он же Щербаков, он же Андропов, он же опять Рыбинск...успокоились, наконец. Самаре повезло больше — она, ни дать ни взять, приличная девушка, только единожды выходявшая замуж и менявшая в связи с этим фамилию — на Куйбышев.

А вот мой Ярославль избежал этой участи. Наверное, потому, что переименовывать его — так же нелепо, как и Москву. За нами — тысячелетие!

* * *

Вот уже и Самара позади...какая тут плотность красавиц на гектар территории!.. все разумные пределы превышает...что же это такое? Откуда? Почему именно здесь?

Молодой армянин с женой, совершающий на нашем белом теплоходе свадебное путешествие, как-то сразу притих — а его молодая супруга и совсем умолкла. Хорошо, что мы ушли из этого города уже через два часа. Волжский ветерок сдул шальные мысли, как пушинки с одуванчиков — и мы уgomонились.

Но легкая грусть о чем-то несбывшемся осталась надолго.

* * *

В такие редкие минуты грустить лучше с музыкальным сопровождением. У меня есть выбор: погрустить за деньги — в баре, под назойливые песни примадонны и ее родственников, либо бесплатно — в кают-компании, где стоит черный концертный рояль. И как ни нашептывает мне какой-то бесенок на ухо, что лучшее место для грусти — это бар, я все-таки иду туда, где рояль. Тем более, что из кают-компаний несутся звуки какой-то классической пьесы. Я неслышно вхожу, сажусь в затертое кресло и прикрываю глаза.

Музыка кажется мне странно знакомой...Шопен?

* * *

Шопен, Шопен...а люблю ли я Шопена? Может, просто по инерции разделяю расхожие представления о том, что хорошо и что плохо?

Этот самый Шопен однажды помешал моему приятелю завязать роман с девушкой, молоденькой комсомольской богиней среднего уровня. Женька нравился всем девушкам, а богине в особенности — и вот однажды утром он, ее подчиненный по службе, зашел к ней в кабинет. Там в это время звучала «Аппассионата» Бетховена. Желая поразить парня своим утонченным музыкальным вкусом, девушка, выждав паузу, томно произнесла:

— Люблю Шопена...

Последние два слога этой фамилии звучали у нее при этом, как в слове «пена».

Неадекватно оценив ситуацию, Женька решил слегка поправить юную начальницу.

— Наташа, — мягким баритоном сказал он. — Это скорее Бетховен, чем Шопен.

При этом он невольно передразнил комсомольскую богиню, воспроизведя ее произношение фамилии великого композитора.

Она грустно, как на законченного идиота, посмотрела на него и без тени смущения повторила:

— А я люблю, — здесь она вновь сделала многозначительную паузу, — Шопена...

Но развития эта музыкальная дискуссия не получила. Не оценив по достоинству этого необычного объяснения в любви, мой приятель в итоге не оказался героем еще одного романа. Может быть, даже романа со счастливым концом....

* * *

— Любите музыку? — спрашивает меня человек, сидящий за роялем.

— Да. Очень.

— Что вам сыграть?

Я некоторое время размышляю.

— «Аппassionату»...если это, конечно, вам под силу...вещь сложная. А в общем, что хотите...

Человек, улыбнувшись, начинает играть Бетховена.

Я вновь прикрываю глаза и вдруг, по странной внутренней причуде, смотрю на самого себя со стороны: немолодой человек, сидящий в затертом кресле, слушает, как рядом с ним исполняют «Аппassionату»...ни дать ни взять — вождь мировой революции с известной фотографии. Только я — совсем не кремлевский мечтатель, а наоборот — крохотный осколок советской империи, плывущий на белом теплоходе неведомо куда и зачем...

От чего я бегу? От кого? На какие вопросы я пытаюсь найти ответы? Что я пытаюсь вспомнить?

* * *

«Неужели не вспомнишь, не заплачешь мне вслед...» Эти слова принадлежали не парню с гитарой, сошедшему много лет тому назад на берег в Романово -Борисоглебске — он только повторял их. Задолго до него эту песню пел его дед, белогвардейский офицер. Должно быть, те поручики и полковники, верой и правдой служившие царю и Отечеству, испытывали после Октябрьской революции те же чувства, что ныне испытываю я: их мир тоже распался, а новый они не могли ни понять, ни принять. Моя поездка на теплоходе по Волге — в чем-то сродни их эмиграции.

Только они уезжали в чужие страны и навсегда, а я скоро вернусь. И за моей спиной нет гражданской войны.

* * *

Музыкант заканчивает игру, я встаю и благодарю его. Прощаясь, он с улыбкой произносит:

— Очень важно, чтобы между первой колыбельной песней и похоронным маршем мы смогли услышать музыку мира. Чтобы понять его...не обязательно разумом, а хотя бы с помощью эмоций...

* * *

Бесенок все-таки одолевает: покинув кают-компанию, я спускаюсь в бар. За стойкой вместе со мной оказывается японец, уже выкушавший один «дринк» и вошедший поэтому в состояние легкой эйфории. На плохопонятном русском он громко восхищается огромными пространствами России.

— На острова намекает... — кивает мне другой мой сосед, с украинской фамилией, выпивший раз в восемь больше. — Вот уж хрен, не дождутся!

Вполголоса исполнив песню времен Халхин-Гола, о самураях, летевших наземь под напором стали и огня, он просит бармена налить всем по маленькой и провозглашает знаменитый тост:

— За единую и неделимую!

Японец выпивает с удовольствием — и с места в карьер начинает рассказывать нам о своей далекой родине. Мы слушаем и поддакиваем: нам все понятно. Свою родину любят все...или почти все. Правда, одни испытывают эти чувства, находясь вдали от родины, а другие — находясь внутри нее. Последнее сложнее.

Японо-украинские отношения продолжают укрепляться, а я выхожу на палубу. Ночное пространство озарено огнями большого города — это последний причал моего путешествия, Саратов.

Что я знаю о Саратове? Парней так много холостых на улицах Саратова...а что еще? Ах да, именно здесь был губернатором Столыпин, который чуть-чуть не сделал Россию нормальным европейским государством...а что еще? Ну, как я мог забыть! Саратов — это Чернышевский, это «Что делать?», это Вера Павловна с ее утопическими снами...не пора ли и мне в койку?

* * *

Мой шеф, одетый в генеральскую форму, но с лицом Ивана Петровича, моего соседа по даче, и почему-то в чеховском пенсне, торжественно говорит мне:

— Вам предстоит выполнить очень серьезное задание, полковник: ровно через час на сцене нашего театра вы сыграете Гамлета.

— Но я же не знаю слов, товарищ генерал!

— Ничего. Суфлер подскажет.

— Но как я буду двигаться по сцене?

— По обстановке, исходя из ситуации и текста. Вас что, не обучали действовать в нестандартных ситуациях?

— Так точно, обучали...

— Главное, не забудьте произнести ключевые слова: «Быть или не быть?» Когда последует ответ, задайте залу второй вопрос: «Что делать?» Ясно?

— Так точно, ясно. Но зачем все это, товарищ генерал?

— Нам нужны ответы. Честные ответы, полковник!

И вот я уже облачаюсь в обтягивающий меня костюм Гамлета. Немного выпирает оперативная кобура, но это ничего, приспособимся. Вот и сцена, неразборчивые лица зрителей. Легко доведя действие до необходимого монолога, я бросаю в зал:

— Так быть нам, иль не быть?

— Любо!..любо!..— гудит в ответ публика.

Так...значит, зрительская масса этнически неоднородна, полно украинцев. Ладно, мы и на мове разговлять умеем.

— Шо ж нам робить, громадяне?

Но в ответ — молчание. Я стою на сцене, в моей руке шпага, а под мышкой кобура, у меня есть приказ и я должен делать то, что должен.

— Что делать?

Наконец, откуда-то с балкона летит одинокое:

— Сам думай! Ты грамотный, целый полковник!..

Я пытаюсь собраться с мыслями, смотрю по сторонам — а из суфлерской будки на меня глядит Иван Петрович в одежде, которую я ему подарил.

— Казаков у меня нет, — говорит он, сокрушенно разводя руками.

И тут я просыпаюсь...

* * *

Тихое летнее утро. Мои ночные кошмары бесследно растворились в нем, словно кусочки сахара в стакане с чаем. С верхней палубы хорошо видны те самые саратовские степи, где когда-то приземлился Гагарин.

Гагарин... Мне казалось, что на огромном, голубом небесном экране вечно будет сиять его улыбка — улыбка моей страны, уверенной в своем будущем.

Той самой страны, которую мы...

* * *

Значит, надо просто — быть? Просто — думать? Как это, однако, непросто... За вагонным окошком проплывают леса, поля, станции — а я, решивший возвратиться в Ярославль наземным видом транспорта, по прежнему погружен в себя. Все вопросы, которые я задавал сам себе, остались вопросами, а збучные истины не пошатнулись, лишь повернулись другим боком, а до честных ответов еще надо додуматься.

Но все-таки я осуществил свой план, выполнил приказ, отданный самому себе. Мое путешествие позади.

* * *

И вот он снова рядом, родной причал... Высокая, светловолосая девочка-подросток стоит совсем недалеко от меня на волжском берегу и старательно машет рукой мальчишке, который все ближе и ближе подплывает к берегу на своей белой лодке с синей полосой на бортах. Он налегает на весла — и лодка скользит по воде, тихой и спокойной, на которой не видно даже ряби. Потом нос лодки тычется в берег, мальчишка подтягивает ее на песок, цепляет веревку за корягу и вытаскивает из-под лавки кукуан с небольшими, яркими щучками.

Он подходит к девочке — и начинает что-то оживленно рассказывать ей, размахивая руками. А она тихо смеется, глядя на него — счастливая, видимо, просто оттого, что живет на белом свете, что любит, очевидно, этого мальчишка... и еще оттого, что сегодня такой солнечный, теплый, безветренный день.

— Догоняй! — кричит она ему и, разбежавшись, бросается в голубоватую ласковую воду. Плывет по-женски грациозно, уверенно.

«Плывет... Куда ж нам плыть?» — невольно повторяю я пушкинские слова.

Но девочка никого не спрашивает, плывет себе. Я смотрю на нее, замороженный — и лишь когда она доплывает до середины реки, начинаю беспокоиться: знает ли она, что такое точка возврата — та точка, с которой уже невозможно вернуться назад, откуда надо плыть только вперед?

Мальчик тоже забеспокоился: отвязал лодку, стащил ее в воду и, быстро догнав девочку, медленно поплыл рядом.

И тут я окончательно успокоился. Доплывет. Никаких сомнений!

* * *

— Ну, что ж, — сказала знакомая литературная дама, посмотрев по диагонали все написанное. — Образ юной девочки, олицетворяющей Россию, эксплуатируется уже лет двести, не меньше. Сюжеты часто примитивны и тоже многократно встречались ранее в разных версиях. В общем, имей мужество, — тут она выразительно посмотрела на меня, — мужество бросить все это, в подражание классикам, в печку — и продолжай быть просто читателем.

— Но говорят же, что рукописи не горят...

— Это великие не горят. А такие... — она взяла со стола оставленную кем-то бумажную салфетку с торопливо записанным номером телефона и именем, щелкнула зажигалкой и подожгла листок. — Видишь, как все просто? Никаких следов. Пепел! Его, по старой русской традиции, можно очень даже художественно развеять по ветру...

Она достала из коробки тоненькую, как проволока, сигарету, отхлебнула кофейку из чашки со следами губной помады и, прерывая затянувшуюся паузу каким-то уже менее жестким голосом, изрекла:

— Впрочем, поступай, как знаешь. Любая жизнь неповторима...в том смысле, что она уже не повторится никогда и бесследно исчезнет. И твоя тоже...

— Так что ж, прав был мой деревенский философ, когда спросил меня: зачем все было -то?

— Да ты его, скорей всего, выдумал, философа своего...да и сам воп-рос — тоже.

— Вопрос-то можно выдумать...но разве можно выдумать жизнь? Она просто была, моя жизнь — и, надеюсь, еще продолжится. И со смыслом...

— Надейся, надейся...

Последние слова она произнесла с такой иронией, что я решил прекратить сопротивление. Ведь убедить женщину в чем-то — это все равно, что просить небо пролиться дождичком завтра ровно в двенадцать-тридцать, и только на твой огород. Шансов — ноль.

— Все-таки я надеюсь, пока живу, — ответил я затертой фразой и, слегка расстроенный, вышел из полутемного, пустого кафе в слякотный мартовский день. В такие дни кажется порой, что весна никогда не придет, что мы обречены на вечную промозглую погоду, грязноватые лужи на узких тротуарах и мрачные лица прохожих.

Я прошел по инерции несколько шагов — и остановился. Куда ж мне идти?

* * *

— Нет, Николаич, — глубокомысленно замечает мой сосед, — про Волгу и про чекистов было интересней...а дама эта твоя — на хрена она? Только сбила с толку. Плыл бы дальше — там, после Саратова, поволжские немцы живут. Сейчас, правда, они уж все поужезжали в фатерляндию свою. ...но и там, слышать, им не сахар. Их там русскими зовут. Ну, давай еще по одной!..да ты закусывай знай...огурчики -то, брат, на смородинном листе сделаны, не хухры-мухры.

— Что хороши — то хороши, — одобряю я. — Говоришь, понравилось? А ведь ответ а-то на твой вопрос у меня так и не нашлось...Вон сколько понаписал, а ответа нет.

— Велико дело, — говорит Петрович, — от Рыбинска до Саратова проехать...тут и выспаться-то не успеешь. Вот тебе мой сказ: двигай дале! Только хватит тебе слезы лить про Советский-то Союз...что уж теперь!..слезами горю не поможешь. Раньше надо было про то думать. А вот скажи, раз ты полковник: я тут недавно про Крючкова вашего та -акое читал...правда, аль нет?

— Гриф «секретно» через четверть века снимут, — отвечаю я глубокомысленно, — тогда вот и узнаешь все. И про Крючкова, и про меня, и про себя...Думаешь, зачем мы вот тут с тобой сейчас сидим? Просто так? Не -ет, брат, просто так ничего на этом свете не бывает...ну, ты меня понимаешь, конечно...

Петрович неуверенно кивает головой, наполняет стопки портвейном, залпом выпивает свою и с хрипом говорит:

— Хрен доживешь!

Недовольно каркая, над нами пролетает ворона. А в мою голову вдруг залетает мысль: все когда-то становится явным. Но вот на вопрос «Зачем все было -то?» ответа мы вряд ли дождемся. Информация о смысле жизни засекречена навек — и не нами, гриф секретности с нее не снимут никогда. И надо ли снимать? Вдруг этот смысл — полная бессмыслица?

* * *

Волга, конечно, впадает в Каспийское море. Правда, я так и не убедился в том воочию...видимо, это путешествие и впрямь не последнее — должен же я все проверить!

А вот со сломанным тополем все вышло удачнее: я купил в магазине маленький саженец дуба, заехал в родной двор — и высадил дубок рядом с тем местом, где некогда стоял мой неприветливый тополь.

— Этот покрепче будет, — бурчал я, окапывая саженец, — лет сто простоит, а то и все двести. Только поливать его надо будет на первых порах...

Словно услышав эти мои слова, ко мне подошла маленькая девочка. Это была она, та самая, что сидела на пеньке и лепила в песочнице пирожки, только слегка подросшая. В руке она держала игрушечное ведерко.

— Можно, я полью? — сказала она.

Я подумал, посмотрел на нее.

— Давай! Ты из своего, а я другое возьму, настоящее. Вот дело -то у нас и пойдет. Не успеем оглянуться — вымахает дуб до небес! А мы будем с тобой под ним сидеть...

— И про тополь вспоминать! — продолжила она. — Я его помню, он тоже был хороший, пока не сломался...

— Неужели помнишь? — обрадовался я. — Ну, тогда ты уже совсем большая! Подика, и мальчики уже с тобой дружат?

Она подарила мне совершенно женский взгляд — и отправилась за водой.

«Подрастает, подрастает новая Фаэтон, — думал я, глядя ей вслед. — Не успеем оглянуться — озадачит весь мир своей красотой. Может быть, ее судьба будет счастливее — и не разлетится на тысячи астероидов? Дай -то Бог!»

Дай Бог всем нам...

ПОЭЗИЯ



Ольга Коробкова

Розы и снег

* * *

Серый снег, серый свет.
Безнадежная зима.
Писем нет, писем нет.
Можно, я сойду с ума?

Я страшнее, чем тень,
Тоньше, чем листок письма.
Завтра был новый день.
Я вчера сойду с ума.
Не мешайте. Я сама.

* * *

Моя соломинка, мой единственный,
Боящийся встречи, а не разлуки!
Любовь и свобода — простые истины...
Но я уже разжимаю руки.

И только где-то в душе — истоминка,
Тоска по твердой земле, по раю...
Но я отпускаю тебя, соломинка.
Тону, но все-таки отпускаю.

Ольга Александровна Коробкова родилась в 1975 г. в Рыбинске. Окончила музыкальную школу, работала внештатным корреспондентом городского радио, заведующей лицейским музеем. Серьезно занимается музыкой, сочиняет и исполняет песни. В Рыбинске записан альбом ее музыкальных композиций «В мире лукавых обличий».

Стихи и прозу пишет с детства. Была постоянным автором рыбинского развлекательного журнала «0855», публиковалась в городской и областной периодике. Дипломантка Всероссийского совещания молодых писателей в Ярославле (1996 г.). В 1998 г. в Рыбинске вышла в свет первая книга ее стихотворений «Которая вечность». Затем в Рыбинске были опубликованы еще две книги О. Коробковой – «Насущные печали» и «После игры». В 2004 г. опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.

Член Союза российских писателей с 2000 г. Участница третьего Форума молодых писателей в Липках (2003 г.)

Живет в Рыбинске.

* * *

А северный март не приносит весны —
Знобит и внутри, и снаружи.
Любовные связи, как блюзы, грустны,
И кровью разбавлены лужи.

Мы все виноваты в неверной игре —
Когда все не так, все иначе...
А в сердце черно, как в мышинной норе,
И хочется выть по-кошачьи.

* * *

Он говорит: «Ничего, прорвемся!»
Я поддерживаю притворство —
И понимаю, что нам конец,
Что мы пропадем вообще задаром...
«Не отвечай на удар ударом,
Не надевай обручальных колец».
Он никогда не будет старым...
И молодца. То есть — молодец.

Здесь, в этом городе, каждый третий
Знает его — но ему не светит
Ни признание, ни покой.
Зеркало — только на дне стакана,
Но из бутылки течет нирвана.
Он сам себе попугай и герой.
Слишком безбашенно? Слишком пьяно?
И молодца. — Ну, и сам такой.

СЫКТЫВКАР

Северный город с колючим вороньим названьем
Выпил мне кровь, как вороны пьют яйца пичуг.
На перекресток иду, словно нищенка за подаяньем.
Но подаяньем мне будет любовь из нелюбящих рук.

Я твоя Герда, я долго бежала по шпалам,
А по обочинам — лес, и снега, и снега...
Кай, милый Кай, я нашла тебя! Дело за малым —
Выплакать лед, и понять: я тебе дорога.

Если понять...

Светофоры чирикают тонко,
Словно те птахи, чьи яйца — добыча ворон.
Город с вороньим названьем. Любовь — как воронка:
Глубже и глубже. И север, и холод, и сон...

ПРОГУЛКА

Давай зайдем в зоомагазин.
Смотри: попугайчики-неразлучники!
Одно — это одна плюс один.
И перышки светят, как солнечные лучики.

Если вдвоем — то и клетка тесна.
Ах, где же наши золотые ключики!..
Пойдем-ка на улицу. Там весна.
А мы с тобой, как ни чирикай — неразлучники.

ОРФЕЙ В АДУ

Так и не выяснено до конца,
Ради чего мне жить.
Розы и снег твоего лица
Я не могу забыть.

Ты, Эвридика — мой мак и мед,
Но убери свой взгляд.
О, дай мне силы идти вперед
И не смотреть назад!

* * *

Сердце мужчины неисповедимо.
Места в нем много, как в новом доме,
Что бы там ни было — хватит всему.
Не проходите, пожалуйста, мимо,
Остановитесь! А можно войти,
Пламя разжечь, посидеть у камина...
А на поверку — не дом. Домовина!..
Сгинете там — и следа не найти.

* * *

Наугад, невпопад, вслепую, на вдох, на выдох...
Пальцы знают ответ, но и горло знает вопрос.
Это память звучит — обо всех, невинно забытых.
Это мир, что внутри, качнулся на гребне слез.

Если вдруг мимо нот приливная волна ударит,
Инструмент — не преграда для дыханья «рот в рот».
То ли это флейтист неумело по кнопкам шарит,
То ли это моя душа так странно поет.

* * *

Я тебя похороню
В памяти моей.
Неверморов прогоню,
Сяду ждать вестей
В холодке, в тени креста...
Но качнется крест!
Свято светится звезда.
Память, как земля, пуста —
Значит, ты воскрес.

* * *

Ты превращаешься в стихи,
Я — в песни, и уже
Сердца тихи, глаза сухи
И белый снег в душе.

Такая глушь, такая тишь,
Такие холода...
Но ты еще во мне болишь,
И это — навсегда.

* * *

Листья держатся за ветки,
Все слабее, все слабей...
Души держатся за клетки
Слабой памяти своей.

Там, за дверцей старой клетки —
Слишком новые пути.
Слишком пусто впереди...
Ничего роднее ветки
Бедным листьям не найти!

Все равно — осенний ветер
Листья оторвет от веток,
Дверцы посрывает с петель,
Души выпустит из клеток...

* * *

Как море зализывает следы на песке,
так время заглаживает твои отпечатки
на тонкой коже моей, на глазной сетчатке, —
и так стираются линии на руке...

Но что-то внутри — оно все равно сильнее
летейской воды и безоглядной разлуки.
И не заживают следы, отпечатки, звуки —
Как раны от струн твоих, о мой Орфей!..

* * *

Теперь там осень. Тихо жухнут травы.
Озера меркнут. Берегов оправы
Все драгоценней золотом горят...
Но видит их лишь мысленный мой взгляд.

А там и есть все так, а не иначе.
На кручах, у дорог, пустеют дачи;
А дальше — осень, и печаль озер,
И строгость гор, и неземной простор.

Там небо — словно парус, но из шелка,
А скромный путник — как в скирде иголка.
Какой покой. Какая глубина.
Какая — громче ветра — тишина.

Так вот она, осенняя природа:
Мечтательность, бесцельность и свобода.
Трава пружинит, и пропал мой след.
Рябиновый в горах, закатный свет.

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Мы — яркие самоцветы,
Мы — радуга наяву.
Любовью людской согреты,
Обласканы по родству.

Нам велено быть собою —
Суров закон, но закон.
А он подобен изгою,
А он — лишь хамелеон.

Прозрачный, но и глубокий,
Не ведающий стыда,
Космически одинокий,
Изменчивый, как звезда.

Он выжил после огранки
И вот — блистает в ночи,
Сияя даже с изнанки,
Ломая в себе лучи.

Он вырезает узоры
На всех, на каждом из нас.
Ему — и вздохи, и взоры.
Жесток алмаз, но алмаз.

ПОЭЗИЯ



Алексей Зябликов

Привередливый дух

* * *

Я обожаю парикмахершиц
С их вежеталями и кремами,
С их распушенными ресницами
И ненавязчивыми темами.

Я обожаю парикмахершиц
С их романтичными разводами,
С их невозможными смешочками,
С их хрустялями и комодами.

Предчувствую упреки злобные,
Что больно умный, шибко смелый -де...
Я обожаю парикмахершиц
И — что хотите со мной делайте!

* * *

Трубою хвост. Глазенки плутоваты.
Над ухом кем-то вырван шерсти клок.
Засунув морду в брошенный чулок,
Он нежные вдыхает ароматы.

Невидимых кадилъниц пряный дым,
Восторг, проникший в закоулки сердца...
Смотрю с любовью на единовеца:
Одну богиню мы со зверем чтим.

Алексей Вячеславович Зябликов родился в 1963 году в Костроме. После окончания средней школы учился в педагогическом институте, служил в армии, работал у учителем русского языка и литературы. В настоящее время — преподаватель кафедры культурологии и филологии Костромского государственного технологического института. Автор более 40 научных публикаций. Кандидат исторических наук. Член Петровской академии наук и искусств.

Стихи А. Зябликова публиковались в областной периодике и коллективных сборниках, он автор книг «Стоеросовый лес», «Искусство полета», «К другим берегам». Член Союза писателей России.
Живет в Костроме.

* * *

Георгины в саду какие!
Жаром тянет, словно от печки.
Позабудем слова пустые,
Помолчим чуть-чуть на крылечке.

В нежный локон совется волос,
На горячий намотан пальчик.
Где-то мой цветок — гладиолус,
Где-то твой цветок — одуванчик.

БИГУДИ

У меня не потому ли
Холодок в груди?
Ты сидишь на венском стуле,
Крутишь бигуди.

Легкий завиток на шее,
Вздернутая бровь...
Верно, это посложнее,
Чем крутить любовь.

Все у нас чудесно будет,
Хоть и говорят,
Что в момент любовь остудят
Тапки и халат,

Что трудна проблема быта
Для иных семей,
Что немало их разбито
Из-за бигудей.

Я ничуть не протестую,
Но, любовь, прости, —
Может, волосы в тугую
Косу заплести?

Может, будет больше толку,
Милый мой дружок,
Если изготовить челку
Или же пучок?

Слышал я, что нынче в моде
Моцартовский хвост —
По погоде он, и вроде
Для ваянья прост.

Ты не говоришь ни слова
И — в глазах тоска! —
Снова крутишь, крутишь снова
Пальцем у виска.

* * *

Пар над озером нежно-розовый
И стеной — лягушачий крик...
Здравствуй, лес ты мой стоеросовый!
Я твой самый верный грибник.

Целый день проброжу с кошелкою,
Ни грибочечка не найдя.
Под поганкиной шляпкой шелковой
Спрячусь на ночь я от дождя.

* * *

Я в библиотеке поселковой
Частый гость. Дождливый вечерком
Славно на столешнице столовой
Разложить какой-нибудь альбом,

Полистать журналы и газеты
Под уютный говорок часов,
Перечесть шекспировы сонеты
Или костромской месяцеслов,

Отвести с любимым Фетом душу
И, отвлекшись от Упанишад,
На библиотекаршу Танюшу
Бросить незаметно нежный взгляд.

ГАРМОНИСТ ФЕДОТ

Душа колхоза — гармонист Федот —
В игре своей порывисто-неистов.
На кнопки он, как на педали, жмет,
Он может все: от чардашей до твистов.

Его гармонь — кузнечные меха.
Играет, как рубаху выжимает.
И бабка, что с рождения глуха,
Особенно Федота уважает.

Башкой мотнет, ослабится Федот,
Поднимет жбан с ужасною отравой,
Икнет, в носу мизинцем ковырнет,
Усы утрет, а дальше...Боже правый!

Душа колхоза — гармонист Федот —
В игре своей порывисто-неистов.
Заказывайте польку и фокстрот,
Канкан и марш канадских хоккеистов!

ДОРОГА

За окном проплывают лохматые ели,
Островки розоватые иван-чая.
Пассажиры к красотам давно охладели,
Утро новое чаем грузинским встречая.
Переводят часы в полувнятной тревоге.
А я радуюсь, вечный переселенец,
Этим грустным полям, этой долгой дороге
Мимо рыжих стогов, мимо белых поленниц...

ИНДИЙСКОЕ КИНО

С обеда в доме все вверх дном,
А в голове одно:
Сегодня в клубе заводском —
Индийское кино.

Там чудеса! Там все в цветах.
Там кока-колу пьют.
Там пляшут, ездят на слонах
И песенки поют.

Там махараджа прячет клад
Под мраморной плитой.
Там брат неожиданной встрече рад
С любимую сестрой.

В старинном сказочном дворце
Тиранит дочь отец.
На смуглом на его лице
Написано «подлец».

Держа в руке бикфордов шнур,
Храня надменный вид,
На ложе из тигриных шкур
Шаши Капур лежит.

Он будет бит в одной из драк.
Но после, как всегда,
Подкрутит ус, встряхнет пиджак —
И снова хоть куда.

Там буйство красок и огней,
Там для своих проказ
Один злодей летит в Бомбей,
Другой спешит в Мадрас.

Коварны планы подлецов!
Шантаж. И яд в крюшон.
...Но знаю я: в конце концов
Все будет хорошо.

ПРОСТО МАРИЯ

Она живет в рабочем поселке,
Она встает в начале седьмого,
Она в зеленой ходит футболке,
Где на груди английское слово —
Призыв к разоружению, вроде.
Но Маша не сильна в переводе.

Она не позволяет дурного,
В ее словах нет спеси и фальши.
Она встает в начале седьмого
И знает, что последует дальше.
И день на день похож почему-то,
И отклоненья нет от маршрута.

Свои дела под вечер устроив,
Вкушает заграничные фильмы
О похоженьях честных героев,
Чьи лица благородно-умильны.
И счастлива тому, что хоть где-то
Есть молодость и вечное лето.

* * *

Бородатый парень —
В клеточку рубаха —
Взял, и на гитаре
Отчебучил Баха.

Оглядел нас хмуро,
Почесал в затылке,
Отхлебнул понуро
Пива из бутылки.

Поискал в карманах,
Вынул пачку «Шипки».
«Я, вообще, друганы,
В музыке не шибко...

Это так, со скуки
Духарюсь. А ну-ка...»
Сунул пачку в брюки
И сыграл нам Глюка.

ЛУНА

Луна, как марокканский апельсин,
Храня здоровый дух в здоровом теле,
Катается по зарослям осин,
Сидит на остриях колючих елей.

Проказы не доводят до добра.
Верхушка поострее — и однажды
Оранжевая лопнет кожура,
Спасая землю от похмельной жажды.

* * *

Куда ж нам плыть... Плыдем
Во мгле тревожных лет.
Не вспыхнет маяком
Святого Эльма свет.

Летучих рыб косяк,
Как молния, — фьюить!
И снова страх и мрак.
Плыдем. Куда ж нам плыть...

* * *

Борода еще не седа,
А полночный гам поутих.
Я считаю свои года,
Поражаясь, как мало их.

Будет много других потех.
Я тоску прогоняю прочь,
Ужасаясь, как много тех,
Чьи следы растворила ночь.

Шулер-век всем в итоге сдаст
Вместо золота серебро.
Борода еще не седа,
А уж бес — тык да тык — в ребро.

* * *

Заведу свою старую «Победу»
И победно по городу проеду,
Издавая рокочущие звуки,
Сотрясая колодезные люки.

Лягут пусть под протекторы «Победы»
Пересуды, сомнения и беды.
Пусть разгонит клаксон гудком могучим
Надо мною сгустившиеся тучи.

Я «Победу» веду шестые сутки,
Объезжая столбы и предрассудки.
Нарушая канон житейской драмы,
Аккуратно обруливаю ямы.

Под капотом нет всяческого вздора
Вроде шлангов, прокладок и мотора.
Вместо них есть веселье и отвага.
Не сбавляй оборотов, колымага!

* * *

Привязалась мелодия,
Просто так — ла-ла-ла!
Позабыты-заброшены
Все на свете дела.

Не хватало лишь этакой
Мне заботы-тоски.
Напоследок отложены
Встречи, письма, звонки.

Никогда не был вроде я
Так беспечен, но вот
Привязалась мелодия
И вздохнуть не дает.

До тебя ли сегодня мне?
Подожди пару дней.
А пока что к хозяину
Возвращайся скорей.

Но мелодия дерзкая
Все яснее звучит.
— Я не Баха, не Фрадкина,
Я твоя, — говорит.

Может, песенка сложится?
Ну, хотя б о любви...
Бог с тобой, неотвязная,
Оставайся, живи!

* * *

Я сделал самолет
Из жестяной трубы
И гладильных досок.
Я завожу мотор,
Клубится над трубой
Коричневый дымок.

Я сделал самолет
Из крышки от фоно
И старого зонта.
Не могут ночью спать,
Тоскуют обо мне
Простор и высота.

Я сделал самолет,
И знаю, что пойдет
Все по-другому впредь.
Лети, мой самолет!
Конечно, если ты
Сумеешь полететь...

* * *

Из меня не вырастет лопух!
Даже если это и случится,
Будет привередливый мой дух
Флорою овражной тяготиться.

Улетит в рассветный белый дым,
Обманув доверье стражей сонных.
И жилищем сделает своим
Ароматный флокс...Или подсолнух.

ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Звезды маются вальсами
При луне.
Нынче лошадь Пржевальского
Снится мне.

Настроенье хорошее.
Даль светла.
И сижу я на лошади
Без седла.

Зацветает акация —
Чудеса!
Помышляю умчаться я
За леса.

Вечер красками алыми
Запылал..
Вдруг Пржевальский пожаловал
И сказал

Эдак тихо и ласково:
«Слезь с коня.
Это лошадь Пржевальского —
Не твоя!»

Веду лошадь к хозяину,
Оскорбься.
Та рванулась отчаянно!
Понеслась!

Мчится лошадь Пржевальского
Средь полей
И кричит мне: «Желаю я
Быть твоей!»

ПЕСНЯ О ЦОКОЛЕ

Включили телевизор за стеной,
Летит за облака мотивчик бодрый.

... А здесь, в угрюмой комнате пустой,
В плафоне мутном — цоколь молодой,
Вздыхающий о лампе крутобедрой.

* * *

Я в танк залез, спасаясь от собак.
Пытаюсь в пулемет заправить ленту,
Жму на педали, дергаю рычаг,
Но прочно танк прикован к постаменту.

Я юркнул в дверь, спасаясь от собак.
Светло. Приятно пахнет курагою.
На кафеле, придавленный ногою,
Судьбу клянет взбесившийся пятак.

Я в бак залез, спасаясь от собак.
Темно. И пахнет «Красною Москвою».
Уютно дождь стучит над головою...
А в общем, все по-скотски. Все не так.

* * *

К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная,
Вся такая прозрачная,
В однобортном пальто.
Жаль, что время упущено,
Жаль, что сердце иссушено,
Жаль, что силы растрочены
Непонятно на что.

Я бы сделал вас донною
И царицей египетской,
Я бы бросил вам под ноги
Не один материк.
Но все предано-продано,
Но все съедено-выпито...
Вы решительно подняли
У пальто воротник.

Что сулит мне грядущее
Лицемерно-бездушное?
Я ведь только вчера еще
Рядом с вами быть мог...
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная,
Как вдали исчезающий
Паровозный дымок.

* * *

Давно те дни листвою отшелестели,
Когда мы без печалей и забот
Черемуху с церковной крыши ели
И на воду, резвясь, спускали плот.

И, выдержав с корсаром поединок,
Приветствовали королев своих —
Валили к их ногам снопы кувшинок,
Как будто груды слитков золотых.

Доспехи, паруса и шум парада
Растаяли, как сон. Лишь иногда
Далекое блеснет нам Эльдорадо
Кувшинкой из заросшего пруда.

* * *

Свой край упрятала луна
В разрез небес.
Стряхнул с бровей остатки сна
Дремучий лес.

Над неподвижною рекой —
Туман-туман.
Мне во владение судьбой
День этот дан.

Мир от восторгов отрешен
И так велик,
Что мерит тысячами он
Своих владык.

* * *

Поэтические изыски.
Виртуознейшие виньетки.
Ярко-желтые рододендроны
На березовой черной ветке.

Щедрой россыпью — недомолвки,
Многоточия и кавычки.
Позолочены прутья клетки,
Но за ними не видно птички.

Невротические капризы.
Поэтические изыски.
В честь геройски погибших мыслей
Многотонныеobelisks.

* * *

Уедем, милая, туда,
Где небо — чистая лазурь,
Где не грохочут поезда,
Где нет житейских мук и бурь.

Уедем, милая, туда,
Где лес, как сказочный чертог,
Где с гор хрустальная вода
Бежит, не ведая тревог.

Там, у большого валуна,
Где озера немая гладь,
Построим домик в три окна
И будем жить да поживать.

И будет утром нас будить
По крыше спелых яблок стук.
Туда, где некуда спешить,
Уедем, ненаглядный друг.

Уедем, милая, туда,
Где нет клаксонов и газет,
Где дни, недели и года
Бегут без видимых примет,

Где графская у сосен стать,
Где плес и синие холмы,
Где так приятно вспоминать,
Какими прежде были мы.

ТРУБАЧ

С нешибкой бородой а-ля Тальков,
В кепчонке, прилепившейся кургузо,
Трубач вблизи коммерческих ларьков
Играет гимн Советского Союза.

Сегодня он опять стоит в строю.
Он, как умеет, свой бросает вызов
Торгующему жирному ворью,
Любителям рулеток и стриптизов.

Участливо вздыхают старики.
Лабазники, зевая, чешут пуза...
Летит в избытке страсти и тоски
Бессмертный гимн умершего союза.

Но, ненавистью классовой томим,
Трубач поднимет мелочь без обиды,
Чтоб выпить после службы — за помин
Под лед ушедшей красной Атлантиды.

ШАМАН ПАНТЕЛЕЙМОН

Над церквями — колокольный перезвон:
Едет в гости к нам шаман Пантелеймон.
Он в народе сеет добрую молву,
Он в мешках везет целебную траву.

Будет снадобьями потчевать нас, чтоб
Излечить от всех печалей и хвороб.
Будет духов звать из тундры, чтоб затем
Мы избавились от всяческих проблем.

Может, сделать так сумеет чужодей,
Чтоб глаза повеселели у людей?
Может, как-то поспособствует шаман
Заживлению моих сердечных ран?

Громче в бубен колоти, Пантелеймон!
За участие — земной тебе поклон.
Только, знаешь, с чудесами поспешай:
По следам твоим идет колдун Митяй.

НЕИЗВЕСТНАЯ

На автобусной задней площадке
Нравы до неприличья жестоки.
И, напротив, изящны повадки
Обитателей джипа «Чероки».

Там, в лиловом велюровом лоне,
Эту женщину вижу опять я —
С черной бровью в пикантном изломе,
С будоражащим вырезом платья.

Не боюсь пролетарских ухмылок,
Тянет пиво, ладошку шлифуя
О квадратный напильник-затылок
Златозубого обалдуя.

Но меня ее шарм не обманет.
Тянет пиво венерина жрица —
А ее, истомленную, тянет
С этим раем постылым проститься.

А ее манит запах ольховый,
А ей руки шершавые сладки.
Я машу ей кепчонкой рублевой
И кричу, и смеюсь, как в припадке.

Но ответом на жест мой широкий
Блеет козлик Саша Айвазов...
Обитатели джипов «Чероки»
Холодны к пассажирам «Лиазов».

ПОЭЗИЯ



Любовь Серикова

Букет улыбок и ударов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РАЗБОРКА

Мне пора разбираться с аурой.
Из карманов всю карму — прочь!
Я похожа на зимний Тауэр,
Уплывающий тихо в ночь.

Но лучами с коричневым запахом
Я стираю налипший мрак —
Планы мести вприкуску с завтраком
И привычное «сам дурак».

Я стираю печаль кромешную,
Только светлую не сотру
И любовную — очень нежную,
Цвета сакуры на ветру.

Осторожничать мне ль, кудеснице!
Рыжей, теплой своей мечтой
Брошу в спину тебе на лестнице,
Попаду и шепну: «Постой,

Хоть для опыта, для эмпирики,
Может, станем одним мирком
Накануне любовной лирики
Замечательным вечерком?»

Любовь Александровна Серикова родилась в 1983 году, в семье художников. Окончив школу с серебряной медалью, поступила на очное отделение факультета русской филологии и культуры Ярославского педагогического университета им. К.Д.Ушинского. В 2004 году окончила этот вуз с дипломом бакалавра филологии. В настоящее время работает внештатным корреспондентом областной телекомпании.

Стихи пишет с детства. В 2004 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений. С творчеством Любви Сериковой можно также познакомиться в Интернете: <http://www.stihi.ru/author.html?setta>.

Живет в Ярославле.

© Любовь Серикова, 2005.

* * *

Говори! Не молчи.
А не то я в тебя не поверю.
Так и буду ключи
Греть в руке, и стоять перед дверью

В мир, где чайник один,
Но две чашки и двойственный климат.
Не молчи. И гляди.
Видишь, свет уже сходится клином.

Говори! До утра,
До заката, до судного зова...
У такого костра,
Как твой голос, я греться готова.

Значит, грей. И держи
Мои руки — не тяжесть в два пуда.
Я прошу, докажи,
Что хоть ты не козлице, а чудо!

* * *

В постель? Мой милый, стою я не гривну,
А миллион. Представь, что я — сестра.
Чтоб лечь костьми, не так уж я стара,
Чтоб лечь с тобой, не так уж я наивна.

Рви, Гамлет, в монастырь. Иль дуру — в жены.
Такой тебе по нраву мой совет?
Темно...Опять не заплатил за свет,
На рождество твое Творцом зажженный?

И холодно... По пиву — или по два?
Безалкогольный бред не так красив.
Ни отчима, ни маму не спросив,
Рви в монастырь. Не так уж это подло,

Как, может быть, помнится некой тени,
Что, экономя, вечно гасит свет,
Не верит, что сынок ответит «нет»;
Не знает, что упертость хуже лени.

А новым штукам выучить уroda...
Куда? Постой. «Макаров» свой не трожь!
Ушел. Узнал, чем кормят злую дрожь,
Голодную в любое время года.

* * *

Я плевала уже на свободу
С башни Эйфелевой, или выше.
Положи меня бликом на воду,
Или лунным CD поверх крыши.

Положи меня курткой на плечи,
Или диском часов на запястье.
Жизнь мою анальгин не излечит,
Нет таблеток от смерти и счастья.

То ли вправду становится жарко,
То ли это болезнь, вроде гриппа.
Положи меня в чайник заваркой
Ароматной, как мята и липа.

Положи меня сном на подушку,
Или тенью на дверь туалета.
Положи под себя, как подружку,
Раз способен пока лишь на это.

ИНЬ-ЯН

«Ты икебана чувств и долга,
Букет улыбок и ударов.
Я мог бы взять тебя и даром...
Потом, как Разин, бросить в Волгу».

Он говорил, а я молчала.
Мне было нечего ответить.
Такое странное начало
Любви, как и всего на свете.

Но вот настало время — оба
Цедили тишину сквозь зубы.
Он надувался, словно кобра,
И прибыль чувства шла на убыль.

«Освобождаю это место,
Я перестал справляться с ролью.
А ты с умом используй волю —
Найди того, чья ты невеста».

Что ж, я найду, ведь мир бинарен
И этот имидж вряд ли сменит.
Всех тварей быть должно по паре.
Я тварь из тех, кто это ценит.

ПРОХОДЯЩАЯ

Любовь, похожая на сон.
Любовь-прохожая. Как сон
проходит, или как печали
и годы. Я спешу отчалить,
я прохожу...как все болезни.
И, право, было бы полезней
не затворять дверей и окон,
не запирасть меня, как в кокон,
в свои бесстрастия и страсти.
Я прохожу. Как все напасти —
насквозь и мимо, в скользь и в мякоть...
Была — и нет. И можешь плакать.
«Была — и нет. Какая малость».
А я чуть было не осталась...

ШОППИНГ

Мне, пожалуйста, литр наваждений
И кило героизма в суму...
Нет, еще не закончился гений,
Я потом его оптом возьму.

Да, еще упаковку удачи!
На развес? Ну, сама заверну.
Деловой оптимизм от «Версаче».
Подвенечную радость. Одну.

Полкило экстремизма, уменье
Разжигать сексуальную прыть,
Как всегда, небольшое сомнение...
Может, взять еще навык судить?

Что, чернухи? И так уж излишек.
Гонор — свежий? Идеи — не яд?
Значит... десять приятных мыслишек
И — на сдачу — насмешливый взгляд.

ПРОЗА

Алексей Серов



Прорыв

**РАССКАЗ ИЗ ТЕХ ВРЕМЕН,
КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ**

Затянувшаяся осень медленно превращалась в зиму. По утрам у него даже в постели, под теплым ватным одеялом мерзли ноги. Кровь — медленная, стариковская — не грела его ничуть. Странно, у двадцатилетнего парня..

Поэтому он и не любил зиму. Вообще, холод. А уже временами шел, валился с неба противный мокрый снег.

Прогноз на ближайшие дни передавали неутешительный. Дальнейшее понижение температуры, осадки, порывистый северный ветер. Каждое утро, уходя на работу чуть свет, он слышал по радио одни и те же чеканные, убийственные формулировки. Становилось все темнее и холоднее. Становилось невыносимо.

Приближалась депрессия, и он не мог ничего поделать с этим.

В прошлом году, в предзимье, он едва не решился на последнее средство против тоски. До сих пор в его мозгу с фотографической точностью мерцало увиденное тогда: тридцать таблеток снотворного, лежащих на дне большой пивной кружки. Когда -то по телевизору он видел фильм о гражданской войне, там люди вместо сахара мешали в чай таблетки сахарина. То, что происходило с ним в прошлом году, было очень похоже на все это и чисто внешне, и по настроению: та же безысходность, отчаяние, холод... Однако выпить адскую смесь тогда он не смог — таблетки не растворились, а глотать их он с детства не научился, всегда разжевывал. Ладно еще одну-две, но не тридцать же!

И вот депресняк вновь надвигался.

Нет, не сейчас. Не сегодня. Позже. Пока еще терпение есть. Еще можно успеть прочитать хорошие книги, которых теперь так много.

Книги держали его. Они заменяли ему все — женщин, друзей, наркотики. Он не умел писать книги, но очень хорошо умел их читать.

Впрочем, у него никогда и не было ни нормальных женщин, ни друзей, ни наркотиков. Почему? Он не знал. Может быть, именно поэтому с наступлением зимы чувство безысходности в нем усиливалось, подталкивая к необратимым действиям?

Биография А.А. серова опубликована в № 1 за 2005 г.

© Алексей Серов, 2005.

До сих пор он держался, но слишком многое зависело от погоды. А та портилась.

Лучше всего бывало, конечно, летом. Летом можно идти куда хочешь, не думая об одежде и еде. Можно плавать в реке, жечь ко стры по ночам, бесконечно смотреть на звезды. Сдувать с плеч легкий тополиный пух. Мечтать о том, что когда -нибудь шутливо сдуешь пушинку с чьего-то хрупкого плеча рядом...

Нет, о лете больно вспоминать. И не нужно. Сейчас глубочайшая осень.

События замкнулись в кольцо. Он чувствовал, как в мозгу воздвигаются мягкие, но упругие преграды для мыслей; он не помнил даже, когда в последний раз делал запись в дневнике. Вокруг не происходило ничего достойного. Совсем ничего.

Он ясно понимал безнадежность своего положения, чувствовал близящееся в очередной раз безумие. И не знал, справится ли с ним.

Но нужно было что-то делать.

В один из совсем черных дней он поехал в центр города за книгами, надеясь на них, как на последнее средство спасения.

Тогда все и случилось.

Погода была никудышная. Термометр показывал минус два, и хотя с утра еще светило солнце, но именно сейчас все небо обложило ватными облаками, вдоль улиц засвистел пронизывающий ветер, перемешанный с ледяной крупой... Что делать, он все равно поехал. Хуже не будет.

Его город имел древнюю историю. Пропитан был историей насквозь. На каждом квадратном метре городских площадей когда-то происходили события, определявшие судьбу всей страны. Новые кварталы, конечно, портили прежний облик, но центр и крепость сохранили свое очарование. Он любил там иногда бродить. Летом. А сейчас была поздняя осень, и город стал почти неузнаваем. Словно хмурый, неприветливый чувак, который в ответ на «здравствуй» посылает подальше. Он готов был сказать своему городу «фэ». А может, и город тоже не любил зиму? И у него тоже было плохое настроение. Хотя за тысячу лет своего существования он, скорее всего, привык к тому, что снег здесь лежит по полгода.

На трамвае он доехал до кольца, прошел мимо почтамта, закрытого на обед, потом вдоль мрачноватых сталинско-ампирных банковских фасадов, потом мимо рынка, где возле холодильников героически замерзали продавцы мороженого и, наконец, достиг магазина. Глаза его слезились от встречного хлесткого ветра. Он чувствовал, как дубеет кожа на лице.

Взглянул на свое отражение в стеклянной двери. Ужас! Нос покраснел, как у старого алкаша, лицо приобрело серо-сизый оттенок. Вот что делает с ним холод. И это тоже было одной из причин, по которым...

Он вошел внутрь. Волна теплого воздуха ласково обняла его, согрела извлеченные из карманов руки. Здесь было хорошо: тепло и много книг, новых, еще не прочитанных им книг. Слава богу, что на свете есть еще много хороших непрочитанных книг! У полок он на время забыл, что творится там, снаружи.

Выбрал одну книгу, очень дорогую, но про которую точно знал: хорошая. Поэтому о деньгах нечего было жалеть. Если бы он мог, то купил бы вообще все книги. Но в его маленькой квартирке и так не повернешься. Там хватало места только на самые необходимые вещи: диван, стол, стулья. А книги не могут сжиматься до микроскопических размеров. И так уже он обвешал все стены бесконечными рядами самодельных полок. Ему уже было тесно у себя дома.

Страшно не хотелось уходить. Он задержался у окна.

На улице мело. Белые снеговые щупальца, по дхваченные ветром, пересекали тротуар и стремились под колеса проезжающих машин, откуда выныривали потом без всякого вреда и задерживались лишь у газонов на той стороне. Они двигались бесконечным потоком, и кое-где начали уже появляться небольшие сугробы.

Он стоял, глядя на это, и раздумывал, успеет ли прочитать купленную книгу до того, как... Одновременно рассматривал в стекле свое отражение.

Красивым его никто не рискнул бы назвать. Узкие, глубоко посаженные глаза. Мешки под ними, предмет ежедневной бессильной злобы. Плотно сжатый рот. Ни дать ни взять — крупный руководитель, без счета тратящий здоровье на производстве. Только вот молод еще. А впрочем, сквозь прическу его начала уже просвечивать будущая обширная плешь, и со стороны он таким уж молодым не казался.

Быт заел его, жизнь доконала глупыми мелочами. Насколько легче бы -ло бы схватиться с противником в открытую, поставить на кон все... но в том-то и дело, что никто ему не противостоял. Он подозревал, что сам мешает себе, но тут возникала даже и теоретически неразрешимая проблема: как бороться с собой? И нужно ли? А вдруг тот, кто ему мешает, гораздо лучше его — и более достоин жить с этим не шибко красивым лицом?..

Время шло. А ведь ему нужно было еще зайти на почтамт.

Несколько дней назад он случайно познакомился с молодой женщиной, они сходили в театр, потом погуляли по набережной. Ничего особенного. Телефонов у обоих не было. Она сказала, что оставит на почтамте сообщение до востребования, где и когда они увидятся в следующий раз. Это его несколько удивило: зачем так сложно? А вообще -то он сразу понял, что номер дохлый. Ведь она осталась явно не в восторге от него. Он некрасив, и хотя болтал без умолку, произвести на нее сногшибательное впечатление так и не смог. Наверное, таким способом она просто хотела избавиться от ненужного знакомства.

Могла бы просто сказать два слова. Не пришлось бы ему сейчас терять время...

Пятнадцать минут назад, когда он шел мимо почтамта, тот был еще закрыт, ну а сейчас обед там должен уже закончиться. Постояв еще минуточку, он направился к выходу, на ходу поднимая воротник куртки. Ветер все равно мигом забрался под нее, будто обхватил ледяными ладонями. Он почти побежал, надеясь согреться в движении.

Он решил немного срезать путь, пройти по переулку, который должен был вывести его к почтамту напрямик. Раньше он здесь почему-то никогда не ходил (сказывалась привычка к большим улицам и площадям), но, по всем признакам, переулок этот вел туда, куда нужно.

Переулок был очень уместен здесь. Все переулки объединяют центры крупных городов, составляя их незыблемую основу. А этот был вдобавок и красив, с его деревянными одноэтажными домиками и аккуратными маленькими палисадами. Наверняка, летом домики эти утопали в зелени и цветах.

В одном из окон сидела и смотрела на него, обернув лапы пушистым хвостом, большая дымчатая кошка.

Он улыбнулся.

Мимо, кутая шею тонким голубым шарфом и тяжело кашляя в перчатку, шествовал полковник артиллерии. Густые брови его были заснежены, взгляд, устремленный в никуда, землист. Он шел на службу выполинять свой долг, защищать страну.

За ним неторопливо двигалась мамаша или бабка с сыном или внуком. Ребенок требовал мороженого. Женщина сердито прикрикивала на него. Ребенок противно верещал. Женщина еще больше сердилась и бесцеремонно тащила его за руку.

По другой стороне переулка шла девушка. Она тоже с любопытством осматривалась по сторонам; не слишком красива, однако он отметил изящество и безупречное сочетание цветов в ее одежде и прическу, которая казалась совершенно естественной.

Они одновременно встретились глазами. Безмолвный контакт продолжался какое-то мгновение, а потом она отвела взгляд.

Он был ошеломлен.

Столько света, простора и свободы... Столько понимания в едва заметной улыбке... Столько дружелюбия... и столько внутренней силы. Нет, такого он еще никогда не встречал.

На него словно затмение нашло. Десяток шагов он не видел вообще ничего, и не помнил даже, как переставлял ноги. Был уверен уже, что девушка ему почудилась.

Еле-еле сумел обернуться..Она была там, она медленно удалялась. Он ощ утил мгновенное страстное желание еще раз посмотреть ей в глаза, но разглядел лишь ее резкий профиль, когда девушка заметила ту же кошку в окне и улыбнулась.

Впрочем, хватит с него. И этого много.

Надо же, какая девушка...

Господи, подумал он, ну вот что мешало мне сразу подойти и заговорить? Почему она не рядом со мной? Моя вторая половина, я это знаю точно, я сразу понял это несколько секунд назад. И вон она уходит навсегда...

Размышляя так, он неудержимо увеличивал расстояние между ними. С каждым новым шагом он яснее понимал, что теряет нечто бесценное — и сам в этом виноват. Теперь уж точно сам виноват, больше никому. И нет ему за это прощения.

Вернуться и попробовать? Но это будет нелепо. Она подумает: заторможенный какой - то, нафиг нужно...Поздно, поздно. Возможность упущена.

Да ладно, не в первый же раз! Успокойся. Скорее всего, она стерва. Или замужем.

А глаза ее ты видел?! Тогда причем здесь все остальное?

На последний вопрос у него не было ответа.

В глубине души он понимал: все это — пустые отговорки, не поздно и сейчас, и не будет поздно никогда... нужно лишь иметь смелость... просто собраться с духом, набраться решимости — и подойти. За дальнейшее он был спокоен, ему лишь бы подойти, хоть как-то закрепиться на том берегу, занять ее внимание... Но уверенность у него как раз и не было. Гораздо быстрее он мог бы найти массу причин и оправданий для того, чтобы не подходить.

Он даже забыл, куда направлялся, едва не прошел мимо почтамта. Странно: там все еще обедали. Большие часы над входом показывали без пятнадцати два, как и прежде.

Ясно. Часы сломались. Кончился завод, время решило слегка отдохнуть. Такое случается. Но неужели почтовики до сих пор не насытились? Не позавтракали утром, что ли? Почему закрыто-то?

Он решил подождать пару минут.

Оживленное место. Почтамт, телеграф, телефоны. Здесь, сколько он себя помнил, всегда толпились тучи народа, желающего позвонить в другой город, получить долгожданное письмо или просто встретиться под часами. Теперь у опоздавших будет хорошая отговорка.

Люди непрерывно хлопали дверьми, и он вдруг сообразил, у кого самая трудная в мире работа. У дверей. Целый день их кто-то грубо толкает, пинает, распахивает настежь, больно бьет о косяк. А в конце огромных усилий — нулевой результат. Как, наверное, тяжело сознавать, что ты стоишь на дороге у каждого и мешаешь всем. А ночью придет дядя с ломиком и изувечит. Обидно до ужаса.

Прошло пять минут. Ничего не изменилось.

Может, у них обед сегодня двухчасовой? Но с какой это радости?..

Он решил зайти в книжный еще раз, посмотреть. Может, что-то интересное он случайно пропустил. Обычно всегда что-нибудь остается незамеченным. Да и мерзнуть он снова начал, сильнее, чем прежде.

В стеклянной двери магазина отразился все тот же отталкивающий портрет.

Внутри благословенная волна теплого воздуха обволокла его, согревая. Он пошел к полкам...

Скоро за окном началась метель.

Успею ли я прочитать эту книгу, подумал он. И вдруг испугался. Что -то было не так. Вернее, не то что «не так», а просто уже было. И совсем недавно.

Его мысли понеслись скачками, перегоняя одна другую.

Ну да. Это уже было. Только что, минут пятнадцать назад. Он был здесь и купил книгу...

И сейчас тоже купил книгу. Очень дорогую, зато уж действительно хорошую. И положил ее во внутренний карман куртки. Ту же самую книгу, что и в первый раз...

Ну все, приехали! А где же первая?

Он обыскал себя и нашел лишь один экземпляр. Второй куда -то бесследно исчез.

Только спокойно!.. Он навел в голове некое подобие порядка и тщательно все обдумал.

Получалось вот что.

Начиная с какого-то момента, он повторил все свои действия, совершенно неосознанно продублировал то, чем занимался последние пятнадцать -двадцать минут. То есть, прошел мимо почтамта, посетил магазин, потом свернул в переулок и опять вышел к почтамту. Так? Так. И сейчас снова находится в магазине, с книгой в руках, готовый выйти в переулок, ведущий...

Постояв еще минуту, он поднял воротник куртки и пошел к дверям. За пазухой лежала книга. На улице мело.

Куда же девался тот, первый купленный экземпляр?

Он решил срезать угол, пройти короткой дорогой. Ведь обед на почте, наверняка, уже закончился. Надо было поскорее выяснить, оставила ли ему сообщение та знакомая, с которой он ходил в театр. Вряд ли, конечно...

Этим переулком он раньше не ходил.

Переулок был красив, под старину: одностажные деревянные домики, аккуратные и ухоженные. В одном из окон сидела кошка. Простуженный полковник с пушками в петлицах быстро шагал мимо, торопясь, очевидно, на службу. Ребенок дергал женщину за рукав пальто и надрывался в истерике. Из его долгого вопля можно было разобрать одно лишь слово: «Мороженое!» По другой стороне улицы неторопливо шла девушка.

Из взгляды встретились, он все вспомнил. И все понял. Время окончательно замкнулось в кольцо.

Этого следовало ожидать. И так уже события в последнее время повторялись с фотографической точностью. Слишком часто. А он не замечал, не задумывался. Так ему и надо. В этом переулке он будет теперь ходить бесконечно, иногда вспоминая предыдущую жизнь, а чаще в полной уверенности, что попал сюда впервые.

Он обернулся. Нет, девушка ему не приснилась. Все то же сочетание цветов в одежде, прическа... А главное — глаза, тут не ошибешься.

С каждым шагом расстояние между ними увеличивалось.

Почему она не со мной?..

Шаги его гулко звучали в стылom осеннем воздухе — тяжелые, как шаги Командора. Он шел, раздвигая само время. Хотел еще раз оглянуться, но не смог — стенка коридора не пускала. Этого не было в программе. Как робот, он шагал вперед, и мысли его принадлежали двум разным людям. Где-то на верхнем уровне сознания прокручивалась уже знакомая волынка насчет заторможенности, а гораздо глубже, на самом дне мозга, он осмысливал происходящее с ним.

В следующий раз ты обязательно должен подойти и заговорить!

Что, неужели опять будет следующий раз?

Ну, а ты как думал? Куда ты теперь денешься отсюда?

Показался почтамт. На часах было без пятнадцати два. Ему предстояло померзнуть здесь несколько минут несуществующего больше времени и пуститься по новому кругу.

В следующий раз я обязательно должен к ней подойти. Иначе просто не вырваться. Пусть она пошлет меня к черту. Лучше уж это, чем бесконечное блуждание по пропиленному сквозь монолит времени коридору — ни шагу вправо или влево...

Но если бы я знал заранее, подумал он. В конце концов, больше половины народу знакомится на улицах, в транспорте, где угодно... Это не так страшно.

Так почему же ты не сделал этого сразу?

Не знаю... Вот так, без подготовки... Да и времени мало, я ведь должен идти на почту. И у меня уже вроде как есть одна девушка... хотя бы теоретически.

Но ведь ты ей не нужен, верно? И она вряд ли зашла на почту, чтобы оставить тебе это мифическое сообщение, а если и оставила, то нетрудно предположить, что в нем. Прости-прощай. И вот теперь ты этого даже не сможешь проверить: такой команды нет в программе.

Он стоял перед дверьми и сочувствовал им. Хорошо, что я не дверь, подумал он. Второй, внутренний голос сказал ему: ты именно дверь, ты дерево, ты сам виноват во всем. В своей пустой жизни, в своей несостоявшейся смерти, в своей несбывшейся любви... Ты просто дерево, дождавшееся топора, и когда тебя срубят, то не сделают из тебя ничего лучшего, чем дверь, а то и просто пустят на дрова.

Холодно... А все ли я посмотрел в магазине? Надо вернуться, проверить.

Книги у него больше не было.

Он прошел полный цикл и опять вступил в проклятый переулок. Пропустил мимо себя полковника и мамашу с ребенком, увидел девушку, опаматовался и попробовал удержать ее взгляд как можно дольше. Ему показалось, что по ее губам скользнула улыбка, а в глазах появилось... нет, не может быть... о жидание?

Подойти он так и не смог. Ноги сами пронесли мимо. Хотел остановиться, но это было все равно что пробовать затормозить бульдозер, натянув поперек дороги детскую скакалку. Но даже и бульдозер как-то управляется, нужно лишь разобраться с рычагами... а где у него кнопка?

Где тот маленький отрезок времени, когда все это началось? Где исходная точка? Остальное не так важно. Надо поймать момент и сделать что-то такое, чего я не делаю сейчас, все равно что, хоть чихнуть лишний раз или купить бесполезный к оробок спичек — лишь бы проломить, прорвать эту глухую стену закольцованного времени, пустить его по нормальному руслу... Иначе все зря.

Где же начало?

Почтамт. Я с самого начала прошел мимо него, и после вернулся сюда же. На нем замкнулся круг. Не переулок, нет. Почтамт. Блин, правильно революционеры рекомендовали первыми брать почту, телеграф, банки. Здесь все рядом! Место выхода силы! Древний город от нечего делать шутит со временем. И со мной.

Те несколько минут тупых, бессвязных размышлений перед дверью почтамта — они и могут спасти меня. Достаточно лишь думать о чем-то другом... или хотя бы не с такой безнадежностью. Попробовать вспомнить хорошее. Думать об этой удивительной девчонке в переулке, о ее затаившихся в ожидании глазах. Больше ничего и не т ребуется. А потом пойти купить книгу, свернуть в переулок... или подождать в его начале, пока она приблизится сама. Подойти к ней, заговорить. И все.

А что сказать для начала?

Что-нибудь смешное, пустяковину какую-нибудь. Пусть она улыбнется. Интересно, какая будет у нее улыбка? Холодно-презрительная, типа «отвянь, мужик», равнодушно-рассеянная «да-да, я вас слышу... но и только» — или совсем другая?

Впрочем, самое главное в другом: это будет уже не то, что раньше.

Он обнаружил себя стоящим перед почтамтом. Его неподвижный взгляд был устремлен на тяжелые деревянные двери. За пазухой было пусто.

Ну что ж, пойду куплю книгу в четвертый раз. Хорошо, что хоть деньги в кармане не убывают...

Итак, еще один успевший надоесть цикл. Магазин, отражение в стекле (что она о нем подумает, Господи!), начавшийся снегопад (на этот раз он не поднял воротник и чуть не расхохотался от радости). И вот уже он опять готов войти в переулок.

Подождать ее здесь?

Нет, там народу меньше. А значит, шансов больше.

Полковник, мамаша с ребенком, кошечка в окошечке... взгляд на другую сторону... невероятное усилие, чтобы заставить себя двигаться к ней...она все ближе и ближе... вот ее ждущие глаза...

Губы его смерзлись на ветру. Он услышал треск, когда разлеплял их. Она смотрела сочувственно. Он вдруг вспомнил, что еще в детстве обратил внимание: твой собеседник, если он слушает тебя внимательно, невольно стремится повторить, скопировать выражение твоего лица, иногда даже беззвучно шевелит губами следом... Что -то подобное он увидел и сейчас.

— А я книгу купил, — сказал он хрипло.

— Хорошую? — спросила девушка. Ее голос звучал нормально, она не испугалась замерзшего человека, подошедшего к ней на улице с докладом о своих покупках.

— Да, очень.

— Можно посмотреть?

Он рванул молнию куртки, выхватил книгу изнутри, как собственное сердце. Протянул ей.

— Этого я еще не читала, но говорят, действительно интересно...

— Девушка, — сказал он, — позвольте к вам бессовестно пристать.

— А разве в таких случаях просят разрешения?

— Отлично, — он мгновенно обрел уверенность, которая с каждой секундой крепла. — Тогда переходим непосредственно к гнусным предложениям. Давайте сходим в кино? А по дороге выясним, как кого зовут.

Она задумалась на несколько секунд, прошлась по нему оценивающим взглядом с ног до головы. Уже готовый весь распахнуться навстречу ей, за эти несколько секунд ожидания он чуть не рехнулся.

— Знаете, так получилось: у меня в кармане лежат два билета в театр. Там отличный спектакль. Подруга заболела, не пришла... Что скажете? Мое предложение кажется мне более бессовестным...

— Театр?.. — Он испытал какое-то смутное беспокойство.

— Блин, мой смокинг сегодня в прачечной. Если вас не пугают недоуменные взгляды чужих людей, я готов, — сказал он и церемонно протянул ей локоть.

— Чужие люди и их взгляды волнуют меня меньше всего на свете.

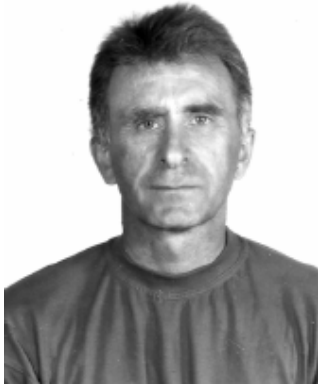
— Я почему-то так и думал.

Она твердо взяла его под руку.

Кружился легкий снег.

ПРОЗА

Валерий Гадалов



Щучье Эльдорадо

Рассказы бывалого рыбакова

КАРП

Еще учениками восьмилетней школы сподобились мы с Петькой побывать на браконьерской рыбалке.

Недавно вернувшийся из армии сосед Николай где-то раздобыл пару сетей и предложил нам составить компанию в походе ночью за рыбой на Мельничную запруду. Там, по слухам, карп развелся богатырский — ни одна леска не выдерживала. В условленный час мы с Петькой сидели на лавке возле дома. Коля с картофельным мешком за плечами, озираясь, выглянул из кустов сирени.

— Под рыбу чего-нибудь взяли?

Мы в растерянности осмотрели авоську с сухпаем:

— Во! Еду приговорим, а рыбу сюда.

— Вы что, совсем уже? Мы же на карпа идем, а вы с авоськой. Ладно, там разберемся, — снисходительно махнул рукой Коля, поедая глазами пустынную улицу. — Пойдемте быстрее, а то торчите здесь у всех на виду.

Солнышко только скрылось, и рассеянное сияние оранжевых облачков на западе еще не позволяло короткой летней ночи заступить место жаркого дня.

Валерий Леонидович Гадалов родился в 1950 году в поселке Колобово Шуйского района Ивановской области. В 5-летнем возрасте вместе с родителями переехал в город Шую. Окончив в 1973 году физико-математический факультет Шуйского Государственного педагогического института, работал в школе рабочей молодежи учителем физики. Служил в армии, преподавал в шуйском индустриальном техникуме, занимался предпринимательством.

Первые рассказы опубликовал во второй половине 80-х гг. прошлого столетия. На рубеже веков занялся сочинительством всерьез, за последние пять лет из-под его пера вышли четыре книги прозы: «Были и небылицы о рыбе и рыбалке для взрослых и не очень», «У светлой речки», «Про ерша Тишку», «Мы из XX-го». В 2003 году стал лауреатом областной литературной премии. Член Союза писателей России.

Живет в Шуче.

© Валерий Гадалов, 2005.

Когда добрались до запруды, последние рыбаки сматывали донки и удочки. Коля за кустами разложил сеть и принялся инструктировать нас, как ее подавать.

Едва мы остались одни, главный браконьер разделся догола, взял в руки веревку, привязанную к сети, и вошел в воду. Он плыл на боку, одной рукой подгребая, а другой вытягивая от нас сеть. Поплавки и грузила то и дело запутывались, полотно цеплялось за все, за что только можно зацепиться, работа стопорилась, и пловец шепотом, стелившимся по уснувшей реке, крыл нас на все лады. Наконец, с первой сетью закончили. Николай, тяжело дыша в сгустившихся сумерках, подгреб к берегу.

— Пошли на поворот.

— А не будем разбирать? — пискнул я, помня о том, как нервно мы запускали только что установленную снасть.

— Некогда, — отрезал хмурый вожак.

На мысу Коля вытащил вторую трехстенку из мешка. На ощупь развязал веревку, взял ее в зубы и вошел в воду. Эту сеть мы с Петькой подавали, не разбираясь. Поплавки перехлестывались, грузила лезли в ячейки, а мы бессовестно пускали снасть барахтавшемуся другу, в душе побаиваясь момента вытягивания ее из воды.

Те два с половиной часа, что были отпущены июньской ноченькой на наше черное дело, были поделены между нервным уписыванием сухая и замиранием в ответ на подозрительные шумы. Даже костер развести побоялись.

Едва в темноте стал угадываться противоположный берег, вожак взялся за веревку второй сети. Мы с Петькой приготовились на всякий случай тикать что есть сил с поля боя. Однако Никола в браконьерском деле тоже был новичком и, вытянув спутанную снасть, шепотом поделился с нами:

— Во! Карпы дают. Всю сеть перепутали, и не один не попался. Давай скорей мешок.

Не разбирая, он запихнул невезучую снасть в мешок, и мы рысцой, трусливо глядя в предзвездные сумерки, потопали к первой сети. Коля взялся за веревку, потянул — и тут же бросил в траву.

— Эх ты, там кто-то бьется. А ведь ночью никто вроде не купался...

Волосы у нас встали дыбом от возможной беды.

— Лек, попробуй-ка, — Коля кивнул на веревку.

Я потянул за капроновый шнур, и тут же в руку передались два мощных толчка.

— Да, кто-то есть. В любом случае надо быстрее тянуть.

— Да уж давайте быстрее, а то еще утонет, — чуть не плача поддержал Петька.

Николай вздохнул, огляделся по сторонам и потянул. Сеть как бы нехотя выползала на берег, укладываясь темной горкой у наших ног. Горка росла, напряжение сгущалось. Колины руки начали подрагивать. Вдруг вода забурлила, и из воды показался мощный сияющий бок здорового карпа. Он переваливался с боку на бок, со всех сторон охваченный сетью.

— Вот он, гад! Напугал как, а! — торжествующе возопил, забыв обо всех мерах предосторожности, наш вожак. — Ну, теперь-то уж ты никуда не денешься.

Николай вальяжно тянул остаток сети, гордо поглядывая на плененного богатыря.

— А как мы его понесем? — захихикал Петька. — Эта зараза уж точно ни в какую авоську не влезет.

— Чего его носить? — ухмыльнулся Николай. — Мы его покатым, он же круглый.

Карпу, похоже, это предложение пришлось не по душе: собрав последние силы, он так закувыркался в сети, что нитки затрещали от столь мощного напора. Вдруг великан шлепнулся в траву, прыг-прыг с пригорка — и в воду. Коля летел следом и успел прижать беглеца на мелководе ко дну. Мы стояли, оцепенев.

Руки Николая вместе с добычей потихоньку, но неуклонно погружались на наших растерянных глазах в ил. Поначалу голова, как поплавок, торчала над водой. Некоторое время Коля, сколько мог, молча вытягивал шею. Потом в последний раз, выпучив глаза,

глубоко дыхнул и скрылся под изрядно замутненной поверхностью. Через десяток безмолвных секунд, весь в водорослях и тине, предводитель браконьеров поднялся на ноги и обиженно произнес:

— А вы чего стоите, как истуканы? Мне одному, что ли, все это надо? Больше на рыбалку вас не возьму.

Он запахал грязную сеть в мешок, закинул его за спину и скрылся в кустах.

А мы с Петькой, когда проснулись к полудню, проверили лески на наших ореховых удочках и отправились ловить пескарей.

ПРО ПЕЧКУ И ЧУДОВИЩЕ

Ремонт избушки, счастливо приобретенной в деревне, производился с помощью моих друзей, знакомых и родственников. Они приезжали на выходной, ловили рыбу, собирали грибы, ягоды, купались, загорали, а между делом помогали мне покрыть крышу, настелить пол, навесить двери... Старенький заброшенный домик на глазах оживал.

В один из июньских сказочных дней приехали еще и Александр слевой. Скептически попинав закладные бревна, загадочно заявили: «На наш век хватит», натянули болотные сапоги, собрали спиннинги, перекинули сумки через плечо — и были таковы. Чего именно хватит, не уточнили: то ли ремонта, то ли дров для костра.

Валентин же, как самый большой «специалист по кирпичам», отправил меня за глиной, а сам полез изучать останки когда-то русской печи.

— Что будем строить, хозяин? Можем шведку, столбик, камин....

— А русскую слабо?

— По новой сложить — дорогонько выйдет. Бабусину лежанку восстановить, конечно, можно, только трубу перекладывать придется, подтопок убирать...И свод надо будет подремонтировать, укрепить. Копи деньги, хозяин!

— Тогда, может, камин? — промямлил я.

— Можем. Только так и скажи: отопление будет центральное, а для дыму, копоти и пыли постройте мне, Валентин Владимирович, камин. А то ведь прислуге делать будет нечего...

— Так что ж делать?

— Дурья башка! Да кто в деревне, где традиционно живут умные люди, не чета вам, строит что-либо, кроме русской печки? Она ведь и кормилица, и поилница, и лечильница, и кровать с подогревом. Эх, молодежь! — и мой однокашник принялся замешивать глину.

Часа через четыре основной ремонт был завершен. Настоящая русская печь, перемазанная, как и все вокруг, глиной, гордо стояла в горнице, мечтая о трубе и давно забытом жаре. Мастер обошел свое творение, вытер руки и, похлопав меня по плечу, заявил:

— Перекур. Наливай молока. И на речку! А то запряг с самого утра. Эксплуататор.

— Пойдем кружки поставим. Живцы в бочке плавают, — заметал я. — Тут под церковью омут хорош. В прошлые выходные у меня там какой-то крокодил крючок оттяпал.

— Что ж, айда, задерем твоего хищника, — великодушно согласился мастер.

Мы начерпали сачком живцов, захватили многострадальные кружки, весло и двинули к плоту.

Соседская лодка умеренно протекала, поэтому и перед выездом, и через каждый час приходилось проводить ритуал вычерпывания. И все же солидные размеры плоскодонки позволяли садиться в нее (правда, с большой опаской) даже моей жене.

Мы расставили посредине омота кружки, уповая на Бога, слабое течение и легкий южный ветерок. Белый храм на пригорке, премудрые ивы над камышом и временами

вспыхивающая на воде рябь усыпили нас. Сколько времени мы просидели, не проронив ни слова, сказать затрудняюсь.

Вдруг мой взгляд непроизвольно отметил странное поведение одного из кружков. Тот сначала быстренько направился к берегу, потом замер. Подпрыгнул, перевернулся белым брюхом кверху. Снова подскочил, встал в исходное положение, подумал и начал стремительно разматываться, распуская по воде концентрические кольца. Затем булькнул и исчез.

— Валентин! Это что за дела такие? — встрепенулся я.

Мне и правда наблюдать такое прежде не приходилось. Мы раза три пересчитали красные пятна на окрестной акватории. Их было семь.

— Ты кружок не брал? Я тоже. Кто ж тогда лямзнул один?

Я окинул грозным оком омут, прибрежные заросли, лодку под сиденьями. Неужели какой-то шутник решил поиграть с нами?

Кружок появился так же неожиданно, как и исчез. Как пробка, он выскочил из воды посередине омута и застыл.

— Вон он, стервец, — ни за что ни про что обидел я свою снасть и взялся было за весло. Однако кружку, видимо, не понравилось наглое посягательство на его суверенитет, и он двинул подальше от агрессоров. Едва нос лодки приближался к нему, он плавно уходил под воду. Так продолжалось несколько раз, пока сидящему на носу лодки лучшему (в кругу знакомых) печнику не удалось сцапать беглеца.

Но радоваться, как оказалось, было рано. Только Валя поднял кружок и перехватил леску, некто снизу попытался сдернуть нахала в воду. Мой друг проворно выбросил непокорную снасть, и кружок снова пропал из виду.

Впередсмотрящий запросился в загребные. Мы поменялись местами и снова принялись изучать водную гладь. Ветер притих, храм спрятался за ивами, деревенские собаки умолкли.

Беглец всплыл почти у самого берега. Валентин подвел лодку, и я вцепился в родную снасть.

Выбрать лесу не было никакой возможности. Я лишь держал кружок и, в зависимости от стараний своего соперника, опускал руку в воду или поднимал ее над головой.

Часа через полтора напор ослаб, и я стал потихоньку подтягивать кого -то, ежесекундно ожидая подвоха. С каждым разом мне удавалось подводить шалуна все ближе и ближе.

Я уже разглядел огромный щучий хвост и ненавидящий взгляд. Но что делать дальше? Как втащить это чудище в лодку?

Почему-то вспомнились слова Наполеона: «Главное — ввязаться в крупное сражение, а там видно будет». Однако, что именно будет «видно», он почему -то не сказал.

Наконец, мне удалось поднять противника к поверхности. Щучина всплывала не как обычная рыба, носом вверх, а горизонтально, всем могучим телом сразу.

— Ну, что там? — с берега за нашей возней наблюдали несколько мужиков и мальчишек. Своими спиннингами выделялись двое наших друзей.

— Ты ее за глаза бери! Правой рукой обхвати затылок и за г лаза! — вопил Лева.

Я занес руку. Ведро брызг и стремительно убегающая леса были ответом на мои поползновения.

Убегая от меня в глубину, запутывая лесу в траве и бросаясь под лодку, щука вконец утомилась. Подведя ее в очередной раз к лодке, я понял, что по ра брать. Но как? Левин совет не проходил, раствора моих пальцев для злобных глаз не хватало. Валентин наотрез отказался «иметь хоть что-нибудь общее с этим крокодилом, пока он не на сковороде». Плыть вместе с чудищем к берегу было бесперспективно из -за густых зарослей и коряг на мели.

Отчаявшись придумать что-то путное, я пошел ва-банк. Отпустил леску, медленно подвел руки под щучину и махом вбросил ее в лодку. Тут и началось! Хищница

мгновенно решила, что это ее плоскодонка, а мы заняли места незаконно. С перва она окатила нас водой, уже вдоволь накопившейся в лодке, а потом попыталась выбросить захватчиков за борт.

Положение спас печник. Борясь за собственную жизнь, он с таким азартом налег на весла, что через мгновение лодка уткнулась в берег. А в сле дующее мгновение Валентин уже стоял в дюжине шагов от берега, переводя дух.

Изучив леску 0,4 и крючок (примерно восьмой номер), сосед Пал Николаич возмутился:

— Ну и дура! Попасть на этакую хлипкую снасть. Тьфу!

Я немного обиделся для порядка.

Мальчишки боязливо гладили пальцами хвост и плавники речного крокодила. Пес Кубарь настороженно обнюхал чудище и залился звонким лаем. А мы еще долго смотрели на щучинищу, наперебой вспоминая подробности своего геройского подвига.

Взвешивали рыбину у соседа. Я, конечно, набросил килограммчик для ровного счета: все равно Пал Николаич без очков не видит делений. Зато теперь вся деревня точно знает, что в омуте под церковью кто-то когда-то выловил огромную щуку. То ли на восемь, то ли на двенадцать кило весом, а может, и на пуд. А уж кто и когда, о том идут споры.

Щуку попробовали все, кто был рядом в момент поимки. И дружно порешили: зря говорят, что большие щуки-де не вкусны. Хоть каждый день лови, никто не отказался бы.

Потом мы и трубу сладили, да так, что печь сегодня н и капельки не дымит. А тяга — хоть дрова привязывай. Как говаривала соседка, тетя Настя: «Хорошина!»

ГОЛАВЛИ

Потемневшие листья ольхи дрожали на еще теплом сентябрьском ветру. Наиболее усталые не выдерживали напора стихии и падали в воду. В заводинке по д кустами течение и ветерок соткали из них толстый лохматый ковер. Редкие вершинки рдеста пробили несколько прорех, и мы с Валентином запустили туда свои мормышки. Шишечкам и веткам ольхи, нависшим над водой, видимо, было обидно наше невнимание, и они в отместку цепляли удочки и лески.

Взвинченные от бесклевья и распутывания снастей, мы выбрались на прибрежную полянку и присели отдохнуть.

Очередной лист выполнил ряд замысловатых пируэтов и совершил мягкую посадку на край ковра. Вдруг из глубины всплыли пухлые белые губы и слегка попробовали прищельца, а может быть, просто посчитали и занесли в свой подводный реестр. Затем рыбина неспешно развернулась и скрылась под нетканым ковром. Мы удивленно переглянулись.

— Голавль, — резюмировал Валя.

— Голавлище, — уточнил я.

— Кузнечика бы, — помечтал напарник. — Или стрекозу...

Мы с надеждой оглядели окрестности, но рядом ничего не стрекотало и не летало.

Пока напарник крутил головой, из-под его сумки вспорхнула какая-то хилая белая бабочка и, проковыляв с полметра, приземлилась в травке. Я воробьем набросился на добычу, и вскоре изрядно помятый мотылек оказался в моих дрожащих руках. Едва не попластунски мы подобралась к воде.

На двухметровой глубине за кочкой, чуть пошевеливая хвостами, расположились три толстенные рыбины. Я сложил телескопическое удище до двух колен, подмотал леску и, насадив мотылька, опустил мормышку на воду. Тут же левый голавль поднялся к поверхности, раскрыв белые губы, и... насадки как не бывало.

Я секанул, но лишь получил мормышкой по загривку. Сдерживая ругань, мы дали задний ход и, не сговариваясь, принялись шарить по траве. Через пяток минут два издерганных мотылька были зажаты в наших исколотых ладонях.

Первым опустил на воду драгоценную насадку Валентин. И все повторилось точь-в-точь как у меня, с той лишь разницей, что мы подкормили на сей раз правого красавца.

Настал мой черед. Я нежно опустил мормышку на воду, но голавли на сей раз не шевельнулись. Постукал мормышкой по воде, приподнял, вновь опустил. Никакой реакции.

— Наелись, — обиделся Валя. — Попробуй, опусти поглубже.

Я стал медленно опускать мормышку к кочке — опять никакой реакции.

Чего только я ни делал! Клал мотылька рыбам на голову, пытался зацепить за плавник. А в результате добился того, что голавли стали отплывать от назойливого намокшего приставалы. Отчаявшись, я решил вытянуть мотылька. Вдруг уже у самой поверхности его настиг средний голавль, преспокойно снял с крючка — и был таков. Похоже, это было все, что они могли для нас сделать.

Когда мы, захватив в плен всех окрестных бабочек и молей, вновь подкрались к берегу, за кочкой было пусто.

В тот день мы все же изловили несколько голавликов. Но огромных рыб с толстыми белыми губами я больше не видел.

ЩУЧЬЕ ЭЛЬДОРАДО

Мы с друзьями жалуем многие виды рыбалки. И, в зависимости от состояния природы, то сидим с удочками у лесного озера, то хлещем спиннингом гладь знакомой речки, то со льда пытаемся объегорить подводных обитателей. Всякое бывает. Только нет и не будет в нас никогда жажды наживы, мало занимают нас сумми рованные килограммы и метры. Если мы в азарте когда и превышали норму вылова, то будьте уверены: большую часть рыбы все равно раздавали соседям и знакомым.

Хотя и нам, как людям азартным, подчас остановиться бывает трудновато, чего греха таить.

Однажды мы с Александром выехали погулять со спиннингами по Люлеху. Конец сентября, солнышко припекает. Притихший лес замер, отражаясь в воде самыми причудливыми красками. Паутинки, поднятые легким дуновением, вспорхнув, лениво опускаются на еще зеленые луга. Вода в речке — байкальская. На повороте из травы выскочил щуренок, крутанулся возле моей блесны, но не взял. У напарника кто-то раз тюкнул по шторлингу. И — все.

Нагулявшись, возвращаемся к машине и устраиваем перекус на берегу небольшого омута. Последние погожие деньки. На мели в лучах солнца ленится стая мальков. Чуть глубже замерли пастухи-окуньки, то ли сытые, то ли нас побаиваются — не атакуют.

— По теории выживания видов, и на этих полосатых гавриков тоже должен быть охотник. Может, где еще поглубже затаилс я, — рассуждает Шура. — Правда, мы тут уже хлестали...

— Александр, а тебе не кажется, что этот омуток перенаселен? Смотри: и справа за кустом малек под надзором пасется. Мы с тобой прошли вверх до переката, и везде — малек да окунь. Я такой плотности киль ки что-то не припомню.

— Да, подозрительно, — вытянул губы дудочкой Шура, что за ним наблюдалось лишь в случае глубокой задумчивости. — Надо посмотреть...

— Смотри.

— Изнутри посмотреть!

— Валяй. Снасти в машине, сейчас доставлю, — весело включился я в авантюру.

— Ты что, с ума съехал? У меня ж гайморит застарелый, а по ночам нынче мороз до минус трех. Вода такая... бр-р-р... Знаешь, что будет, если жена узнает?

— Так и говори: «Нырни сам — и глянть, где главный пастух ховается». А то: «надо посмотреть...»

Меня и самого стала забавлять обстановка в омутке. Не может быть, чтобы возле такого огромного скопления добычи не крутился хищник.

Я облачился в теплое белье, шерстяной свитер, штаны, сухой подводный костюм и зашел с переката, так как в омутке берега был и глинистые, крутые.

Для заплыва собственно в самую яму нужно было пролезть метров пять против течения сквозь довольно густые заросли, заполонившие в последние годы плавный откос. Начинался откос с полуметровой глубины, и я просто лег сверху, привыкая к ино й освещенности. Песчаное дно просматривалось отдельными яркими пятнами, и буквально перед глазами едва колыхался щучий хвост. Вроде пора кричать ура, но ружье -то ведь еще на поверхности, в отведенной в сторону руке. Осторожно перетаскиваю его к носу, но случайно цепляю за траву. Вижу, как хвост двинулся вперед и пропал из поля зрения. Ругаясь (про себя, конечно), гляжу влево... и опять вижу хвост. Это что ж получается: щука меня решила одурачить и зайти сбоку? Перевожу взгляд на ружье, чтоб не запутаться снова, и тут вижу справа еще один хвост. Целю чуть выше. Мгновение...и я радостно вскидываю над головой щуку с добрый килограмм.

Александр, естественно, тут же приписывает себе гениальную мысль о нырянии, а заодно и щуку.

Помня о левом хвосте, я перезаряжаю ружье и вижу, что моя возня с правым его совсем не обеспокоила: он просто чуть-чуть сдал вперед, как и тот, первый.

И пошло-поехало! Обожравшиеся хищницы, тяжелые и ленивые, каждая примерно с килограмм, стояли в траве едва не вплотную. После очередного в выстрела они продвигались чуть вперед, в сторону — и замирали.

Я продвинулся к яме в общей сложности метра на два и по пути добыл пятнадцать щук. Подзамерзнув, выбрался на берег.

— Ты чего? Хотя бы до конца травы доплыл! — налетел Шурик.

— Тебе что, мало? Иди-ка сам поползай по травке. И нырять не надо!

— Да нет, мне просто интересно, что там, в самом омуте творится... — заюлил дружок.

— Патроны кончились, — закрыл я вопрос и непослушными пальцами принялся стягивать пояс. — А ты обратил внимание на пиявок?

— Как же, на каждой по десятку! Поди-ка, объелись, болезные.

В течение недели мы еще два раза навевывались сюда. Хищниц не убавлялось: они словно откуда-то подходили, всякий раз восполняя понесенный урон. Всего мы выловили, да простит мне Бог, сорок восемь щук, каждая весом от восьмисот граммов до килограмма. Накормили всех друзей и знакомых, но, боясь поголовного истребления речных хищниц, никому не открыли уловистое место.

Уже под нудный осенний дождичек я в последний раз залег на дно. Ничего тут не изменилось: передо мной лениво колыхались щучьи хвосты с темной окаемкой.

ТРУБА У ПЕРЕКАТА

Ранним июльским утром мы с женой заехали в наш небольшой деревенский домик. Я выволок на свет Божий потрепанные кружки, начерпал из бочки впрок припасенных карасиков и в сопровождении оравы соседских котов отбыл к импровизированному причалу. Старенькая плоскодонка грузно отчалила от плотика.

Вообще говоря, я не ловлю рыбу для выполнения продовольственной программы, да это у меня и не получается, но тут вопрос был поста влен так: или-или. Или мы идем по грибы и балуем вечерних гостей дарами леса, или я, поднатужившись, угощаю народ фирменной ухой из щуки.

Щука, естественно, не клевала. Я таскал кружки с плеса на омут, с омута на заводину, с заводины к перекату, и — ничего.

Кукушка тоскливо обрисовала не Бог весть какие виды на будущее. Лесной стукач - дятел, проповив что-то оскорбительное, камнем бухнулся с прибрежной ольхи и полетел к перелеску. Неумолимо приближался час расплаты.

Изголодавшись, я поплелся восвосяи и побитым псом предстал перед добродушной своей половиной.

— Что? Не клюет? Ничего. Сейчас перекусим, и в лесок за ферму прогуляемся. На сковородку-то грибков наберем. Главное — не расстраивайся.

— Угу, — горестно поблагодарил я свою надежду и опору.

После обеда в сопровождении преданного Пуши я побрел к берегу проверить кружки. Красные пятна тоскливо замерли в лопухах кувшинок у переката. Ни одной перевертки! Поход в лес меня не прельщал, и я упрямо полез в ветхий, насквозь пропахший нафталином полукомодник за подводным снаряжением. Жена, завидев рюкзак с ружьем, укоризненно покачала головой:

— Куда ты? Поздно уже. Солнышко низко, ничего не увидишь.

А мне слышалось: «Куда ты, старый хрыч, собрался? Уж пятый десяток, а все хорохоришься».

— Да я только посмотрю, — пробормотал я, закрыв прения. И, провожаемый жалеющим взглядом жены и тоскливым — Пушка, направился к реке.

Дни в последнее время стояли нежаркие, без дождей, и вода в Люлехе была на удивление прозрачной. Облачась в свой старенький «Садко», я окунулся в ин ой мир. Небольшие плотвички, яркие красноперочки при моем появлении дружно отпрянули в подводные заросли. То ли их трусливое бегство, то ли сам вид рыбешек, похожих на живцов, натолкнули меня на странную мысль: «А что, если подсмотреть, как заманивают хищников мои карасики? Возможно, в них дело? Ведь они больше месяца сучали в бочке под стоком...может быть, заленились, шустрость утеряли?»

Не мудрствуя лукаво, я подплыл к перекату. Карась на первом кружке откровенно филонил: висел кверху хвостом прямо над грузилом, прижавшись боком к основной леске. Щелкнув туняядца, я на время реанимировал его. Следующий живец для маскировки еще и приплел к леске стебель лилии и почивал точно в такой же позе. Нырять от кружка к кружку и колотить лежебок показалось мне дело м малоувлекательным. «Интересно, а как обычно ведут себя живцы?» Я невольно задумался, и в этот самый момент мой взгляд уперся в черную трубу диаметром дюймов шесть, проходящую у дна прямо подо мной.

Вообще-то вид труб положительных эмоций у меня не вызывает. Скорей, наоборот: трубы у меня ассоциируются с разбитыми дорогами, исковерканными тротуарами, с ремонтом водопровода, канализации или чего -то еще... Но вдруг словно молния тюкнула меня куда-то в живот, обежала весь мой хлипкий организм и странным образом заземлилась в районе поясницы. «Труба в лопухах, у переката, который я сто раз пропахал?» Замерев и напрочь забыв дышать, как король в сказке Оскара Уайльда, я начал медленно погружаться.

Чем меньшее расстояние оставалось до подозрительного объекта, тем более походил он на спину огромной рыбины, голова и хвост которой скрывались в придонных лопухах. Моя рука с ружьем произвольно вытянулась вперед и вниз, выцеливая заветную десятку. Когда между острием и «трубой» осталось с метр, я зажмурился и спустил курок, уповая на мощный бой пневматики и крепость капронового линя.

Выстрел... и — тишина. Никто не бьется на гарпуне, никто не пытается вырвать ружье из моих объятий, как это бывает.

Так и не дождавшись активных действий противника, я слегка приоткрыл левый глаз. Клубы мути и обрывки лопухов перед носом демонстрировали, что это и впрямь была не труба. Я слегка сдал назад и потянул за линь. Гарпун с девственно чистым острием и

флажками легко подтянулся со дна. Вот так номер! Стало быть, гарпун просто не пробил шкуру объекта?

Несмотря ни на что, меня распирала какая-то усталая радость. Все-таки есть еще рыбка в нашей небольшой речке!

Что за гигант показался мне тогда, я по сию пору не ведаю. Сомы, судаки и таймени почему-то не жалуют нашу речку в самом центре древней Руси. Налимы больше двух килограммов не бывают. Неужто щука вымахала до сказочных размеров?

Стоит мне теперь увидеть на суше трубу подходящего диаметра, как перед глазами всплывают речка Люлех, пережат и черная спина...

УДАЧА

Спешка никогда никого до добра не доводила. Вот и на сей раз она меня подвела.

Приехав с друзьями на речку, я наказал им разводиться костер, чистить картошку, а сам занырнул подстрелить что-нибудь на уху, чтобы потом с толком, с расстановкой заняться настоящей подводной охотой — уже не для желудка, а для души.

Безусловно, приятно в жаркий летний день понырять в теплой прозрачной воде. Погоняться за стайкой плотвы. Безднажно понацеливать ружье на юрких полосатых окуньков. Выследить затаившуюся в зарослях зубастую щуку. Невзначай набрести на стаю язей, не спеша плавающих возле мохнатой коряги. Спугнуть рака, прогуливающегося по солнечной песчаной полянке. Но когда на берегу пятеро оголтелых обжор с ножами и котелком наперевес жаждут рыбы, «лучше щуку», то удовольствие как-то откладываете на потом: сначала — дело.

С каждой минутой, с каждым погружением падал мой авторитет, только что поднятый на приличную высоту моими рассказами о былых подвигах, неземным видом в резиновом костюме и ружьем.

Я кидался под каждую корягу, залезал в самую гущу подводных джунглей, но.... Рыбы не было. То есть ее, конечно, не стало меньше, но я видел лишь хвосты разбегающихся плотвичек да муть, поднятую со дна. А притаившийся под лопухом щуренок -карандаш вряд ли добавил бы мне популярности и насытил жаждущих.

Наконец, терпение олухов с тесаками кончилось и они, погромыхая посудой, отправились ловить рыбку исконным дедовским способом, дабы не дать «этому Мюнхаузену» помереть с голоду, когда он уже натешится со своими русалками.

Почти все рыбаки немного суеверны. Вот и я обычно не беру на серьезную рыбалку новую снасть или обмундирование, а сначала обкатываю их на близлежащих водоемах, стараюсь не распространяться о своих рыболовных удачах по дороге туда. И вот бес меня попутал: нарушил я рыбацкий закон. Ну, да ладно. Надо брать себя в руки.

Успокоившись и уменьшив скорость продвижения, я начал методичный осмотр мало-мальски подозрительных участков на предмет посещения их рыбой. Но сегодня мне явно не везло. Из-под лопухов спугнул и только успел проводить взглядом крупного темно-полосатого окуня. У пережата лишь издали полюбовался зеркальным блеском лещиной чешуи. Проманулся в щуку.

Выше пережата шли густые заросли, сверху прикрытые листьями кувшинок. Именно в них в летний полдень часто дремлет рыба. Видимость упала, зато глубина не превышала двух метров. То и дело погружаясь на дно, я осматривался вокруг, чтобы затем, продравшись сквозь гущу растительности, выбраться на поверхность, вдохнуть новую порцию воздуха и снова уйти на дно — осматривать следующий участок.

И вот во время одного из погружений я наткнулся на «сумасшедшего» зяя. Именно так я решил, когда килограммовый увалень вместо того, чтобы улепетывать, как делают обычно все подводные обитатели при встрече с гомо сапиенсом, решил спрятаться п одо

мною. Заподозрив рядом присутствие конкурента, я огляделся. Ни души. Может быть, выдра или крокодил забрели поохотиться?

При следующем погружении я прямо по курсу увидел бревно. «Что ж, все правильно, берег-то совсем рядом», — решил я. Уже протянул вперед левую руку, и тут меня осенило: «А чегой-то это бревно не лежит себе на дне и не плавает на поверхности? Подозрительное полено...»

Я замер. Ни вправо, ни влево за травой не было видно продолжения «бревна», в подводном полумраке угадывался только неестественно прямой и гладкий кусочек его, зависшего вполводы.

Плавный световой переход от черной спины к белому брюху и бесформенные темные пятна на боках поторопили — и я, не целясь, бабахнул по щучине.

Рывок! Ружье вылетело у меня из рук, и облако мути вперемешку с травой окутало поле боя. Встав на дно, я огляделся, надеясь найти ружье. Но куда там! Дрожащими руками стянул маску, плохо соображая, что к чему. Вдруг в метре от меня всплыла голова с клыками, как у собаки. Борясь за уху, свой подорванный авторитет и ружье, я презрел опасность и вцепился в соперника. Но не тут-то было: последовал удар хвостом, и мы разлетелись в разные стороны. «Теперь еще и маску с трубкой искать», — подвел я итог первого раунда.

Через несколько удручающих секунд появилась та же голова и, поче-му-то, в том же месте. Не надеясь больше на крепость пальцев, я выполнил захват обеими руками за «корпус» и вместе с зубастым хищником повалился на мель, производя удержание по всем правилам борьбы. Несколько мощных ударов, и мой противник затих. Подозревая в таком поведении подвох, я завопил, обращаясь к родному, пусть и неблагодарному, коллективу:

— Ребята! Толик! Сюда-а!..

Мои орлы, оторванные от самого важного рыбацкого ритуала, то есть, от варки ухи из консервов, все-таки нашли меня, несмотря на то, что между мной, борющимся с хищником, и их теплинкой лежали непроходимые заросли тимофеевки. Идиотское «И -е-х ты-ы!..» Толика-первопроходца помогло мне ослабить мертвую хватку.

Совместными усилиями нам удалось разобраться в секрете моей удачи: щука попала в наш котелок благодаря мощному бою ружья, крепкому линю и прибрежной коряге, в которую угодил гарпун, пройдя навывлет. Что и не позволило моему оппоненту лишиться мой домашний уголок рыболова главного трофея — нижней челюсти с полторасантиметровыми клыками.

ВЗГЛЯД

Для меня самый нудный момент в открытии сезона подводной рыбалки — сборы непосредственно перед выездом. Это даже хуже, чем мутная вода. Один забыл, кому отдал ласты, у другого высох необходимый позарез клей, третий так запрятал ружье от сынишки, что даже жена не представляет его примерное местонахождение. К моменту выезда я готов раздать все свои снасти, лишь бы скорей все это кончилось: прочь от шума, суеты, людей.

Наконец, выехали.

Подъезжаем к реке, и теперь уже сборы — ничто, вода — всё. Неужели зря была вся эта нервотрепка с выездом? С дрожью в ногах подкрадываемся к обрыву и.... Нет, не зря мы мечтали именно об этом моменте в долгие рабочие и коротюсенькие выходные дни.

Бросаемся на траву и обалдело смотрим в небо, на ве рхушки деревьев. Слушаем удивительное пение птиц, впитываем влажный запах лесной речки, и все заботы, дразги отслаиваются от нас.

Наленившись вволю, идем с Евгением на первый «заныр». Люлех — речка, довольно заросшая и сильно закоряженная, поэтому мы традиционно ныряем со страховкой. Да и веселей вдвоем. Есть кому поплакаться об очередном промахе или передать маленькую плотвичку, небрежно замечив: де, прицел проверял.

Продираемся к знакомому упавшему дереву. В прошлом году небольшие подъязки и плотва постоянно шныряли вокруг. Задача первых шныряльчиков проста и прозаична: обеспечить лагерь тройной ухой, то есть, добыть три сорта, пусть и некрупной, но рыбы, чтоб оставшиеся на берегу не боялись умереть с голоду и не отвлекались по пустякам.

Я осмотрел пару коряг, загнал под лопухи окуньков и оказался перед заветным деревом. Подъязки были на месте. Но они почему-то не шныряли, как обычно, у дна и не кружили среди веток, а стояли, забившись в самую чащобу. Из темноты куста за мной настороженно следили их ярко-желтые глаза с трусливыми зрачками.

Я подстрелил одного красавца, но остальные вроде даже не обратили внимания ни на мои кровожадные намерения, ни на убыль в своих рядах. Обнаглев, я легонько стукнул гарпуном еще одного горемыку по холке, но тот лишь безразлично повел плавниками, вроде: отстань, не до тебя. Вот так дела, это уже не охота, а тир получается!

Добыв под бревном солидную плотицу, я поплыл дальше в поисках окуня или щучки. Небольшая хищница пасла стайку пескарей на отмели, она и дополнила продовольственный набор.

Вечер у костра с друзьями — чудо. Но должен сразу внести уточнение: только с приличными людьми. Мои же обороты сошлись во мнении, что либо в глазах «у некоторых» уже троилось, либо где-то рядом я просмотрел хищника, загнавшего всю компанию подъязков в гущу. Мои оправдания ни к чему не привели, и утром я назло «врагу» двинул вместе с единственным приличным человеком (с собой) к злополучному дереву.

Досконально исследовал окрестности. Тишина и покой царили вокруг. Даже стремительные окуньки и неторопливые пескари куда-то пропали. Ветвистое дерево тоже казалось пустой декорацией в мертвой воде. Ни один желтый глаз не отметил моего появления. Я приблизился вплотную и стал вглядываться. Из тьмы на меня кто-то смотрел. Но это был совсем не тот испуганный взгляд вчерашних подъязков — в сумраке застыл большой, злобный и одновременно неживой, как из могилы, глаз.

Что и как, я соображать не стал, а скорее, чтоб отделаться от наваждения, бабахнул прямо в него. Куст вздрогнул и окутался клубами мути.

Я всплыл и, отдышавшись, потянул за лить. Гарпун намертво засел в недрах дерева.

Выждав, пока муть пройдет, по линии добрался до пики. Та, оказалось, пригвоздила голову огромной щучины к стволу. С превеликим трудом удалось вытащить хищницу.

На обед у нас была жареная щука под мудрые шутки моих старых друзей.

ЮРКИНА КУПАЛКА

В те времена, когда мы начинали осваивать зимнюю рыбалку, одним из самых активных первопроходцев был Юрка, по прозвищу Курносый. Добрый, веселый парень, с которым в летней рыбалке на кивок никто не мог сравниться. Но вот зимой ему больше везло на купания. Не было случая, чтобы Юрка хоть одной ногой да не провалился. А посему стал он на речку всегда собираться основательно: брал рюкзак с запасными ватными штанами, носками, старыми зимним и ботинками и свитером. Все это оставлял на ферме, в Красном уголке. Скотник дядя Илья раскладывал все эти «запчасти» на печке и ждал, когда прибежит его постоянный собеседник.

Перед каждым выходом на лед Юрка давал нам страшную клятву, что на целину он больше — ни ногой. И каждый раз неуемная жажда непоседы-первопроходца брала верх.

И вот уже Курносый опять семенил к Красному уголку с криком: «Ребята! Ящик с буром захватите!»

Речка, в которой мы ловили подледных красавцев, была небольшой, с обилием быст рин и ям. Рыба тут чаще брала возле перекатов. В тот раз, о котором я рассказываю, Валентин ниже одного из них нашел стайку окуней, блесной не спеша выдергивал их и радостно укладывал в ящик. Юрка бурил чуть ниже по течению, но все впустую. Убедившись, что у него точно такая же блесна, как и у Валентина, он не выдержал и шагнул поближе к перекату... А дальше все было, как всегда: на поверхности плавали шапка и ящик, а рядом спокойно лежал ледоруб. Мгновение спустя вынырнула голова с воротником и, резюмировав: «Опять», со всем остальным добром выбралась на лед. После обычного «Ребята, захватите снасти» Курносый припустился к дяде Илье.

Я подошел к Валентину, когда, так сказать, сей факт уже свершился и, к удивлению, обнаружил, что тот вытаскивает окуней как раз из Юркиной купалки. Недолго думая, я тоже запустил туда блесну...И пошло. Наши блесны не успевали дойти до дна: было такое впечатление, что окуни со всей округи собрались сюда поглазеть на Юркин смертельный номер.

К отходу автобуса мы притащили в Красный уголок три ящика с рыбой, поблагодарили Юрку за удачно продавленную лунку и попросили впредь не брать ледоруба и, уж тем более, пешни.

Как потом рассказал один мой знакомый, Юрка на следующий день приехал на это же место, но из-за пурги сразу не рискнул подходить к своей вчерашней купалке. Лишь к концу рыбалки у переката он все-таки не выдержал, похвастался: «А вчера я вот где-то здесь провалился», — и встал с ящика...

Это была последняя Юркина зимняя рыбалка. Он, конечно же, не утонул. Просто сказал, когда вылез: «Ребята, ящик и бур захватите...»

С тех пор наш товарищ совершенствуется в летней ловле на кивок. А рыбное место у переката стало именоваться Юркиной купалкой. Мне не раз приходилось слышать, как совершенно незнакомые рыбаки, готовя снасти в Красном уголке перед выходом на реку, говорили: «Ну что, пойдём к Юркиной купалке...»

НОСТАЛЬГИЯ

Зимняя ловля леща в устьях притоков верхней Волги в семидесятые годы двадцатого столетия отличалась удивительным спокойствием и, я бы сказал, благообразием.

С перволедья каждый уважающий себя местный рыболов начинал «кормить» лунки и налаживать «сижи». Это значит, по возможности чаще на рассвете выходил на лед, бросал два-три черпака черного хлеба, намешанного с льняным маслом, в каждую из трех плотно расположенных лунок и, по мере выпадения снега, возводил вокруг них стены. Затем насаживал по кисточке мотыля на плоские мормышки, обычно «Чечевичку» или «Ракушку», и запускал удочки с притопленными поплавками. После чего с чувством исполненного долга шел в гости к соседям.

Гостевание длилось, как правило, до десяти часов. Почему -то у местного леща именно в это время иной раз прорезался аппетит. И тут уж никто не слонялся меж рыбаков, не отвлекался, а чистил лунки, неотрывно гипнотизируя поплавок, часов до двенадцати.

Лещ, понятно, мог и не выйти в этот день жировать на положенные места, да чаще так оно и было. Но если он все-таки двигал подкормиться, наблюдалось великолепное зрелище дружеской рыбалки. То тут, то там слышалось короткое «Крюк», и добросердечные соседи бежали со своими багориками на помощь. Завидев в лунке мясистые лещиные губы, ловко прихватывали рыбку крюком и пытались вытащить на свет Божий. Если дело шло туго, в лунку запускали второй багорик, и уж тогда у подводного любителя хлеба с маслом шансов улизнуть не было. Через лунку диаметром

пятнадцать сантиметров протаскивали, бывало, красавцев шириной до полуаршина. Вытянут на лед бродягу — и снова по своим местам, там до следующей команды и бдят.

Поклевку леща ни с чем не перепутаешь. Утопленный сантиметра на три поплавок, давно продрогший в студеной водичке, вдруг оживает, нехотя всплывает и ложится на бок. Стало быть, подняв со дна мормышку, лещ пробует предложенное угощение на язык. Тут же его размашисто подсекают (глубина метров десять) и не спеша тянут леску на себя. Начинаются потягушки, кто кого. Если попадаете матерый лещина, а леска старенькая или крючок на мормышке подзаржавел, пиши пропало. Ты мечтаешь поближе сойтись с очередным представителем семейства карповых, он же, почуввав неладное, пытается отбиться по своим подводным делам. Много раз в ответ на мои поползновения следовала мощная потяжка, затем слышался мерзкий щелчок лески, и я, горестно вздохнув, лез в заветную коробочку за очередной мормышкой.

Когда же чудо происходило и леща удавалось уговорить покинуть родные глубины, наступала вторая половина действия: надо было умудриться не дать слабинку, едва хитрец ринется к тебе навстречу с бешеной скоростью, и смягчить рывок в момент его нырка в сторону перед самым льдом. Ну, а если, паче чаяния, все проходило благополучно и негритянские губы подводного хитреца припечатывались ко льду с противоположной стороны лунки, я орал что есть мочи: «Крюк!!!», а остальное было уже делом техники соседей по счастью.

Причем все мы кричали заветное «крюк» и в том случае, если использовали свой багорик: просто радовались поимке рыбины, а заодно информировали соседей, что подошел лещ.

Вот так ловили рыбу в те достохвальные времена. А не как сейчас, на рубеже тысячелетий — пряча окунишку от соседей, дрожа, чтоб не заметили и не обурили.

ПОЭЗИЯ



Галина Божкова

Дерзость слабых

* * *

Обычный день.
Жары уже не будет.
Прерывисто осеннее блаженство.
Как совместить неблагозвучье буден
И вечное желанье совершенства?

* * *

Мне зеркала шептали о любви
в пятнадцать лет.
И зайчики шальные
летели к окнам,
отразив рассвет,
и падали, и пробивали стекла.
Под солнцем, как под ливнем,
я промокла.
Как домовой, сквозняк
шуршал по всей квартире.
Казалось все возможным в юном мире.

Мир был наполнен солнечным огнем,
С дорогами пересекались выси...
Но амальгамы хрупкий оком
Теперь голодным временем изгрызен.

Галина Валентиновна Божкова родилась в Костроме в 1957 году. Окончив Костромской технологический институт по специальности «инженер -технолог ткачества», работала мастером и начальником цеха на ткацкой фабрике в г. Судогда Владимирской области. Затем вернулась в Кострому и поступила на ткацкую фабрику им. Октябрьской революции, трудилась по специальности инструктором, бригадиром, мастером. Работала инспектором Госстраха, в 90-х годах прошлого века занималась предпринимательством. В настоящее время трудится ответственным секретарем в редакции костромской газеты «Деловое обозрение».

Стихи пишет с юности. Печаталась в городской и областной прессе.

В костромских газетах и коллективных сборниках опубликованы также ее прозаические произведения. С 1995 года входит в неформальное литературное объединение «Клуб поэтов».

Живет в Костроме.

* * *

Оранжевый протек закат,
Собой переполняя небо,
Где одинокая звезда
Размочена, как крошка хлеба.

Почти прозрачная луна
Слегка озолотилась тенью.
Струей сиреневой дымы
Плывут по воздуха теченью.

Грядет мороз. Как в декабре
Ложится иней на ресницы!
Хрустален мир, как будто снится
Начало сказки о добре.

* * *

В объединенье трех зеркал —
Как будто бы не я, чужая...

Из нереальных трех миров
Один — устойчивый — слагая,
Смотрю в себя со стороны,
С трудом свой жест соединяя
С той, что за гранью пустоты
Мне не перечит, отражая.

А зеркала опять мерцают,
Обманом зрительным маня,
Опять мне что-то обещают.
Но кто обманут? Только я...

* * *

Приходи и не бойся остаться.
Я не ангел и ты не святой.
На руинах забытого братства
Мы построим дворец золотой.

Ни рабов, ни друзей — только двое
Посреди необъятных палат.
Если чувство — то лишь роковое,
Если страсть — то всегда нарасхват!

* * *

Учусь передавать слова,
Рожденные речной прохладой
Под сенью дремлющего сада,
Где ночью ухаает сова,
Учусь передавать слова.

Совсем зарос вишневый сад
С тех пор, как на рассвете мая,
Когда была я молодая,
Посажен был он, жизнь назад...
Совсем зарос вишневый сад.

Он что-то шепчет у реки,
Он окружил заветный терем.
Но счастьем тоже срок отмерен
И вечности шаги легки
В саду, цветущем у реки.

Но, изменяя все вокруг,
Не изменяется в измене,
Течет и остается время,
Морщинами касаясь рук,
Преображая все вокруг.

* * *

Вновь одиночество горестно пью.
Не повезло: никого не люблю.
Рядом — веселые сплошь голоса,
И равнодушные рядом глаза.
Не подойдет, не посмотрит в лицо,
Не позовет, не наденет кольцо —
Вольная птица!

 Как воля, вольна,
Как потерявшая берег волна;
Только что — била, бурлила, неслась,
Вдруг по камням невзначай растеклась
И, не успев покуражиться всласть,
Вмиг потеряла и силу, и власть...

Холод в душе, неизбежности страх —
Будто в пустыне блуждаешь впотьмах.
Нет никого утолить эту страсть:
Сердцем, губами, всем телом припасть,
Словно защита от вечности есть —
В смертном другом, в его нежности здесь...

* * *

Вот
так
собиралась,
чтобы упасть,
капелька на зеленой
вишне.

* * *

Покинешь ли ты Мекку, Магдалена?
Песок и пальмы, храмы и дворцы,
Саманных хижин треснувшие стены,
Фонтаны, ткани, пестрые ларцы...

Торги окончены. Торговцы оставляют
В пустыне желтой синие следы.
Закат поет, барханы оживают.
Идешь со мной иль остаешься ты?

Твой муж устал трястись над каждой
брошью,
К жене неверной равнодушен он.
Зачем хранить разрушенное ложью?
Решай, где путь в любую из сторон.

Ворчит свекровь — костлявая старуха,
Она тебе несчастья ворожит.
И замкнут мир из перезрелых слухов,
Соседских ссор и мелочных обид.

Привычен свет от масляного круга,
Не видно звезд и окон не найти...
Будь верной мне, неверная супруга,
Нельзя бояться Млечного пути!

Зачем молчишь? Какое из пророчеств
Сейчас мелькнуло искрою в глазах?
Дождь упадет — на небо не воротишь.
Дрожит рука на вышитых шелках.

Я жду тебя. Когда угаснут краски,
Когда затихнут в сумраке дворы,
Я на своей испытанной коляске
Раскину шемаханские ковры!

* * *

Мне краски в руки дал художник
И объяснил:

— Вот это — свет!

Там, где светло, там мрака нет.
Тенями управляй умело,
В полутонах купайся смело,
Лепи из них любой предмет!

И вот в себя я погружаюсь...
Смотрю — и молча удивляюсь:
Все смешано — и тень, и свет,
Нет мрака и сиянья нет,
Нет святости и нет порока...

С моей душой одна морока!



Валерий Мутин

Пути-дороги

*Судьбу свою я ветру доверяю
И вместе с ним найду себе приют.*

Николай Рубцов.

ПОПУТЧИК

1959 год, общий вагон пассажирского поезда. Я, девятнадцатилетний парень, еду из Мурманска, куда судьба занесла меня сразу после неудачного поступления в Ярославское художественное училище. В Заполярье хотел устроиться на какой-нибудь пароход, все равно, торговый или траловый, — но по разным причинам во флот не взяли. Ни художником теперь не стану, ни моряком...А что дальше? Не возвращаться же в ярославскую деревню, в колхоз! Два года назад мне с большим трудом удалось удрать оттуда (уехал в город учиться на плотника) и направлять свои стопы обратно совсем не хочется. Работы на земле я уже хлебнул, и подпаском был, и плугарем в тракторной бригаде...нет, это не по мне!

Откуда взялось желание стать художником либо моряком? О, это отдельные и долгие истории. Но коротко можно сказать так: умение рисо-вать — у меня от Бога. Никто меня этому не учил, но рисовал я с детства, постоянно: летом на песке, зимой на снегу, первым попавшимся под руку прутиком. Пачкал углем ворота, свои и соседские, выцарапывал птичек на заиндевевших оконных стеклах. Особенно хорошо у меня получались профили вождей — Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, я их рисовал не отрывая руки, единым росчерком. Точнее сказать, срисовывал: профили эти с детства мозолили нам глаза, они были всюду — на обложках школьных учебников, на сельсоветских флагах, на больших красных плакатах...

А о морских путешествиях мечтала вся ребятня тех лет. Но после того, как парнишка из нашей деревни, уехавший после школы к родственникам в Мурманск и устроившийся там на пароход юнгой, приехал к родителям в отпуск, мечта эта — поступить во флот — буквально сводила меня с ума.

Биография В.В. Мутина опубликована в № 1 за 2005 г.

© Валерий Мутин, 2005.

Стоило только глянуть на этого парня, когда он шел по деревне: широченные брюки - клеш, косоворотка с тельняшкой, бескозырка с развевающимися по ветру ленточками... А по вечерам, когда он при полном параде выходил на улицу с гармошкой в руках и, лихо развернув меха, заводил «Раскинулось море широко», даже соловьи, казалось, замолкали во всей округе. Что уж говорить о девчонках: они с нами, «сухопутными», не только дружить, но и разговаривать в те поры переставали...

И вот теперь оба этих пути для меня закрыты. И что делать? Уж не махнуть ли в Сталинград, к сестре Тамаре? Там сейчас ГЭС строится, а значит, работа для плотника найдется... А художество и морские просторы пусть до времени подождут.

Деньги на такое путешествие у меня есть — не зря матушка перед моим отъездом из деревни сдала на мясо годовалого бычка. Решено! Перекусив на перроне вологодского вокзала пирожками с ливером, я пересаживаюсь на московский поезд — и мчусь в неведомые дали.

Народу в общем вагоне немного: городские жители из Вологды в столицу не особо стремятся, а деревенские пилигримы давным-давно уехали на целину и «комсомольские стройки». Это ближе к Москве вагон до отказа забьют колхозники, едущие в столицу за колбасой, за макаронами, а то и просто за белым хлебом. А пока что в жестком купе у меня всего один попутчик — невысокого роста морячок в новой, с иголки, флотской форме. И бушлат, и в меру широкие брюки подогнаны под его рост и как-то особенно подчеркивают молодую, стройную, пружинистую фигуру.

В глубине темно-карих глаз попутчика светится улыбка. Он старше меня года на четыре, но держится просто, и между нами сама собой завязывается доверительная беседа, тем более, что по корням оба мы — вологодские.

Я рассказываю ему о своих мытарствах, а он мне — о своем, сокровенном:

— В «Красную звезду» еду. Там мои стихи опубликовать должны.

— И я стихи пишу... Правда, пока не печатался еще. И вообще, я больше рисовать люблю, а стихи — это так, попутно...

— Э, братишка, «попутно» у тебя со стихами ничего не получится, — замечает морячок. И, слегка призадумавшись, добавляет:

— Один раз и «попутно» можно напечататься. Только это — несерьезно...

Он рассказывает мне, что сам пишет стихи давно, что публикуется в армейских газетах. Всю дорогу мы говорим с ним только о стихах, другие темы нас, кажется, совсем не интересуют. Даже море, о котором я так когда-то мечтал и с которым тесно связана судьба моего собеседника, не присутствует в нашем разговоре. Стихи, стихи, стихи!.. И когда на Ярославском вокзале мы, попрощавшись, растворяемся в пестрой толпе москвичей и приезжих, я еще долго вспоминаю потом и точеную, складную фигуру попутчика, и нашу беседу. Ведь это ж надо — от Вологды до Москвы говорить только о поэзии!

Морячок остается в столице, а я, как и намеревался, еду в Сталинград. Вскоре меня захлестывают новые впечатления, новые знакомства — и случайная дорожная встреча вместе с конкретными деталями разговора почти выветривается из памяти. Лишь спустя много лет, глянув на фотографию в подаренной мне книге стихотворений, я узнаю имя и фамилию моего попутчика.

Это был Николай Рубцов.

ГЛАЗА, ПРИПОДНЯТЫЕ К НЕБУ

Идет 1960-й год...уже год я живу в городе-герое Сталинграде, а точнее, в его спутнике, строящемся Волжском. Если уж совсем точно — то в рабочем поселке с нелепым названием СУЛПБ, которое расширявается как «строительное управление

лесоперевалочной базы» . Базы, впрочем, ко времени моего приезда здесь уже нет. А что есть? С одной стороны — водохранилище, с другой — степь...

ГЭС действительно строится, но вот найти работу оказывается я поначалу не так-то легко: таких, как я, сюда приехало немало и предложение рабочих рук значительно превышает спрос. Принимают меня лишь дорожным рабочим, да и то с испытательным сроком. А совсем недавно все самые тяжелые работы здесь выполняли заключенные. Если пойти в степь, непременно натолкнешься на колючую проволоку — когда-то тут была зона и стояли сторожевые вышки. Теперь в бараках, вместо эзков, живут солдаты стройбата: от бесплатной рабочей силы Советской власти трудно отказаться.

Общежития нет, ютиться мне приходится у сестры, в комнатухе коммунальной квартиры, где она живет с мужем и двумя маленькими детьми. Но я молод и поэтому не унываю: когда-нибудь все должно непременно наладиться. Этим предвкушением будущей счастливой жизни проникнута, похоже, не только моя душа — все кругом чувствуют то же самое. В Волжском полно молодежи, в кинотеатрах и на танцплощадке многолюдно и днем, и по вечерам. Девчонок молодых — как моли.

Ощущая, что грамотешки у меня недостаточно, я записываюсь в вечернюю школу, в девятый класс — и сразу же влюбляюсь в молоденькую учительницу русского языка и литературы, Галину Евгеньевну. Хожу на ее уроки, как на свидания, с замиранием сердца выполняю все учебные задания. Шансов на взаимность у меня, конечно, нет: у Галины Евгеньевны имеется жених, он старше и самостоятельнее меня, дорожного рабочего. Но любить не запрещено никому: пьянея от нарастающего чувства, я прихожу в состояние, когда даже не поэты пишут вполне удачные стихи.

Полюбил я тебя не сейчас,
А когда-то давно, и очень.
Ты вошла в мою жизнь не стучась,
Как на землю приходит осень...

Написав целый цикл любовной лирики, я изнемогаю от желания прочесть кому-то эти стихи. От самой же Галины Евгеньевны узнаю, что при газете «Волжская правда» действует литературное объединение, которым руководит известный в городе поэт Федор Сухов. Набравшись храбрости, прихожу на очередное занятие этого объединения — и сижу в уголке, слушая, как молодые авторы вдохновенно читают свои произведения. Меня здесь никто не знает, и я никого не знаю тоже.

Ближе к концу занятий ко мне подходит руководитель объединения, худощавый мужчина в простом темно-сером костюме. Это, очевидно, и есть Федор Сухов. Прищурился глазами, он говорит:

— Вы принесли что-нибудь?.. Не робейте, читайте, здесь все свои.

С трудом преодолев волнение, читаю свои лирические опусы. На глаза наворачиваются предательские слезы...и тут слышу голос Федора Григорьевича:

— Хорошие стихи! Читайте дальше!

Это восклицание меня приободрило. Но что еще прочесть? В запасниках памяти у меня жило стихотворение об отце, сражавшемся на подступах к Сталинграду политруке стрелкового батальона. Попав под шквальный минометный огонь, он получил тяжелое ранение, с поля боя его, тяжело контуженного, ночью вытащили санитары. Стихотворение мое о нем называлось «Мамаев Курган» и заканчивалось такими строчками:

А внизу река бежит, тревожно
Пулями у берега шурша.

Мать-Россия, не по той ли поже
Сделал мой отец последний шаг!

Прочитав, поднимаю глаза на Федора Григорьевича — и вижу, что эти стихи его не на шутку встревожили. Сам он прошел войну командиром орудия, видел и кровь, и смерть — моя искренность произвела на него впечатление. С этого занятия он начин ает относиться ко мне, как к своему сыну. Тут же дает свой телефон и адрес.

— Приезжай, когда будет трудно. Как к себе домой приезжай!

Трудности в незнакомом городе подстерегают двадцатилетнего парня на каждом шагу. Поэтому очень скоро я оказываюсь в гостях у поэта, на другом конце Сталинграда, растянувшегося вдоль Волги на многие километры.

Живет Федор Григорьевич на третьем этаже многоквартирного дома, мебели в его квартире почти нет. В прихожей висит на вешалке пальто с каракулевым воротником, на кухне бросается в глаза старый, обшарпанный стол без скатерти и початая буханка черного хлеба на нем. Одна дверь из зала ведет в спальню, где стоят две железных кровати, другая — в комнату, где хозяин квартиры работает. Там — этажерка с книгами, диван, придвинутый к нему письменный стол, да радиоприемник в углу. Больше нет ничего.

Хозяин протягивает мне толстый томик.

— Вот моя настольная книга, Валера. Это величайшая книга! Не прочитав ее, не только поэтом — человеком не станешь. Вся премудрость жизни — в ней.

Я открываю том — и ошарашенно смотрю на хозяина: это — Библия. По тем временам, такое заявление звучит как откровение.

С той поры я начинаю часто бывать в этой квартире. Мы с Суховым становимся, несмотря на разницу в возрасте, настоящими друзьями, бесе ды наши иногда затягиваются далеко за полночь, я наблюдаю его и во время горячего спора, и в минуты раздумья, и в час дружеской пирушки. А пирушки эти, надо сказать, происходят регулярно: к поэту валом валят гости. Среди них немало именитых графоманов, жаждающих «дотянуть» свои лишние полета опусы до категории «проходных» — и эти люди всегда приносят с собой и выпивку, и закуску. Конечно, «пить — здоровью вредить», но не эти ли загулы навевают порой поэту волшебные строчки? Как знать...

Зальюсь ли песней иль вином залью
Глаза свои, приподнятые к небу,
Я вспоминаю тихую зарю
И ту сирень, которой больше нету...

Сухову эти приходы-уходы, с одной стороны, и на руку — живет он очень бедно, иногда ему и хлеба купить не на что. С другой стороны, частые возлияния и впрямь вредят здоровью. Но, как бы там ни было, Федор Григорьевич честно отработывает все ему приносимое: внимательно читает каждую рукопись, делает, с согласия автора, правки, часто «вливая» в чужие стихотворения, подобно донору, собственную «кров ь» — яркие метафоры, строчки, а то и целые строфы. Помню, как, заканчивая чужое стихотворение, он подарил какому-то ветерану-полковнику половину строфы:

Над Волгой заря лепестится,
Хорошая это примета.

А что такое «лепестится»? По смыслу понятно, но есть ли такое слово в русском языке? Заглянув позднее в словарь Даля, я нашел там это слово, оно означает «разбиваться на клочья, лопасти, лепестки». И еще раз убедился в том, что русский язык, во всем его

многообразии и великолепии, Федор Григорьевич знал как никто. А в те времена мне многие слова в его стихах кажутся загадочными, непонятными. «Сладило горечью губы», «захолонула вода в озерах», «ныли блеклые листья, чуя близкую холодень», «нелюдимой землице предан близкий младень»... я натываюсь на эти слова, как на кочки в траве. И однажды говорю старшему другу откровенно, что я этого ничего не понимаю и что вообще сомневаюсь, можно ли так писать.

Федор Григорьевич ехидно хихикает. И замечает, что такое же нарекание ему привелось услышать однажды от известного стихотворца Михаила Светлова, который указал Сухову на слово, которого в толковых словарях нет.

— А я ему в ответ привел сразу несколько примеров употребления этого слова — в стихах Пушкина, Тютчева и других известнейших поэтов. Он и руками замахал: ой, убил, убил...

Весьма категоричный во всем, что касается поэзии, в обыденной жизни Сухов очень скромный. Ко всем взрослым, за исключением самых близких друзей, он обращается строго на «вы», разговоривая, всегда стаскивает с головы кепчонку. О себе отзывается я крайне резко:

— Я, как и все те, кто не производит материальных ценностей — попросту паразит!

— Ну, какой же вы паразит, Федор Григорьевич, — возражаю я, — разве ваши книги — не материальная ценность?

— Паразит и есть! — рубит он воздух сухой ладонью.

Меня он считает поэтом начинающим, а потому к сочинениям моим относится очень бережно: никогда не рубит сплеча, мягко указывает на мои погрешности. Сам мои рукописи никогда не правит, предоставляя делать это мне самому. Очень хочет, чтобы я уехал в Москву, учиться литературному труду всерьез.

— А здесь, в провинции, ты ничего не добьешься, — утверждает мэтр.

Жизнь моя тем временем идет своим чередом: в Волжском мне удается устроиться на подшипниковый завод, учеником наладчика станков-автоматов. Рождаются стихи на производственную тему:

Парни наши — миру на диво -
Закаленный у горна народ.
Если молоды вы и радивы,
Приходите к нам на завод.

Работа — в три смены, и в ночь под новый, 1962-й год я возвращаюсь с завода домой в полночь. Настроение отличное, как раз тут подкинули деньжонок, то ли аванс, то ли премию. Спешить мне некуда, не торопясь, иду полутемными пустынными улицами (все добрые люди уже сидят дома и празднуют). Хулиганов особо не боюсь, в это время я уже занимаюсь боксом, имею спортивный разряд. Поэтому, когда навстречу мне из полумрака выплывают три тени, ничего похожего на страх я не испытываю.

— Спички есть?

Протягиваю в темноту коробок, спичка вспыхивает...и тут же получаю удар кастетом по голове. Теряю сознание. Очнувшись, бреду, окровавленный, в свое общежитие. А там — шум, крики, топот ног...

— Вот он!

Неужели это обо мне? Ну, и ночка сегодня выдалась... Мне крутят руки и пытаются втолкнуть в «воронок», я сопротивляюсь, пытаюсь объяснить стражам порядка, что они ошиблись, спутали меня с кем-то. Не тут-то было! Меня начинают бить — и бьют до тех пор, пока я не покоряюсь.

Медвытрезвитель, куда меня привозят, находится в подвале многоэтажного дома. Медсестра обрабатывает спиртом и заклеивает лейкопластырем рану на моей голове, а милиционер в то же самое время больно крутит мне руку за спиной.

— Что ты делаешь, фаши...

Договорить мне не дают, от увесистой оплеухи мутится разум. Не соображая, что делаю, вырываюсь из цепких рук — и бью обидчика в челюсть. Глубокий нокаут. Налетает на меня другой — нокаутирую и того. Кидаюсь к двери, чтобы убежать, но навстречу мне сыплются, как горох, человек десять ментов. Я решаю не сдаваться...но сила солому ломит. Меня сваливают на пол, скручивают за спиной руки, поднимают на веревке над полом — и бьют на убой.

— Я в немецком концлагере сидел, — кричит со своей койки пожилой клиент вытрезвителя, — но не видал и там, чтоб так над людьми издевались!.. Что вы делаете?

Полумертвого, меня опускают на пол и бросают на кровать — «отсыпаться».

Утром меня долго держат в палате, не зная, видимо, что с этим «вологодским бычком» делать дальше. Наконец, ведут в суд. Я почти ничего не вижу, глаза от побоев заплаыли, одежда окровавлена. В таком виде переступаю порог судейской комнаты. Суду сразу все становится ясно, ни одного вопроса мне не задают.

— Пятнадцать суток!

Из каземата не выпускают долго: опухоль должна спасть, а синяки — померкнуть. А вот сосед, интеллигентного вида мужчина, получивший свои пятнадцать суток за то, что вышиб дверь собственной квартиры, застук ав жену с любовником, уже выходит на волю. С ним-то я и передаю записку Федору Сухову: «Сижу за решеткой в темнице сырой...попал по ошибке... помогите, если это возможно».

Получил ли поэт мою записку, или нет, сказать не могу, но на следующее утро в камеру входит сам начальник ГОВД.

— Иди домой, сынок! Только ночевать приходи сюда, освободить тебя совсем я не имею права.

Все-таки, наверно, Федор Григорьевич приложил руку к моему чудесному спасению: ну, не могла родная милиция сама по себе совершить такой «поворот все вдруг», не могла! Так я и отбываю наказание: прихожу в милицию, чтобы поесть и поспать в общей камере. Никому не жалуясь: что толку? Ну, уволят моих обидчиков, придут на их место такие же звери, если не хуже...

На заводе меня, как назло, в это время тоже ожидает неприятность. Синяки на теле уже прошли и рана на голове заросла, но сама голова то и дело побаливает. Однажды, в ночную смену, я ложусь на скамейку — и будто проваливаюсь в бездну... В таком виде меня и фотографирует кто-то из комсомольских активистов — и на следующий день перед проходной уже красуется огромная фотография нарушителя трудовой дисциплины Валерия Мутина. Мои попытки переубедить председателя завкома успеха не имеют, с завода приходится уйти, я устраиваюсь в одну из строи тельных организаций монтажником стальных конструкций и...профессии монтажника -высотника предстоит кормить меня почти до самой пенсии.

Не дорожу последней спичкой,
Последней искрой в темноте,
А дорожу одной привычкой,
Простой привычкой — к высоте.

Стихи пишутся, да и публикуются уже: мой старший друг относит их в «Волгоградскую правду», и с той поры я встречаю свою фамилию в печати.

В областной молодежной газете охотно помещают мои очерки и выполненные тушью графические портреты героев. Но тут меня подстерегает новая напасть: начинают болеть глаза, я потихоньку слепну, надолго укладываюсь в больницу. Болезнь отступает медленно, требуется хорошее питание, а где его взять? Меня одолевают мрачные мысли, и я решаю съездить к матери, в ярославскую деревню Юрьевское, что неподалеку от

Пречистого. Там, в деревенском клубе, на танцах я и встречаю свою судьбу — белокурую, большеглазую девушку...

И вот я уже не просто молодой парень, а муж, глава пусть небольшого, но семейства. Зрение у меня к этому времени более-менее восстанавливается, физической силы не занимать...надо трудиться! Вместе с женой еду в Волгоград, ищу себе новую работу — и тут же нахожу: волгоградский монтажный участок всесоюзного треста «Гидромонтаж» набирает рабочих на строительство Красноярской ГЭС. Оформляюсь, занимаю у Федора Григорьевича сто рублей на дорогу — и в путь, в путь!

ЗА СОЛНЦЕМ ВСЛЕД

Конец шестидесятых.... Прожив пару лет в славном Дивногорске, я уезжаю вместе с женой и маленькой дочерью в Ставропольский край: там начинается строительство каскада кубанских ГЭС и меня приглашают туда работать бригадиром монтажников, дают жилье в поселке с броским названием Ударный. Будни я отдаю работе, а выходные — охоте в предгорьях Эльбруса. И, конечно, немало времени уделяю своей любви, поэзии. Стихи мои печатают все ставропольские газеты, часто я читаю их и по местному радио, меня знает, как поэта, вся ставропольская интеллигенция. Директор вечерней школы, карачаевец Тухтар Туалиев говорит дружески:

— Поступать тебе в институт надо, дорогой. А среднего образования у тебя, говорят, нет? Приходи, сдавай экзамены экстерном!

— Да ведь мне не сдать, Тухтар Туалиевич! Времени до экзаменов с месяц осталось, а у меня за плечами всего девять классов.

— Приходи, не бойся. Я тебе помогу с математикой, а русский язык и литературу, я думаю, ты и так знаешь неплохо. Поэт ведь!

И вот, взяв внеочередной отпуск, я с головой ухожу в книги. Чуть с ума я тогда не схожу, «проходя» за сутки по целому предмету! Результат можно было предугадать заранее: я забываю и то, что знал, все в голове перепутывается. Но экзамены, с Божьей помощью (и директорской) все же сдаю.

А что делать дальше? И впрямь, что ли, толкнуться в двери вуза? А какого? Вот если бы Литературного...

Работа монтажником отнимает много сил, но, одновременно, приносит немало новых впечатлений. Мне частенько приходится ездить с Кубани все в тот же Волжский, где находится наша главная контора; бываю я и в Волгограде, где как раз в это время возводится гигантский монумент. Монтажники — народ грубоватый, без сантиментов, и священный обелиск они меж собой запросто называют «Бабой».

— Сегодня опять на Бабу работать едем!

Внутри обелиск полый — здесь только паутина стальных канатов да лестницы. Поднятая вверх рука «Матери-Родины» изнутри напоминает тоннель, «груды» — это целые комнаты, а в «сосках» мы подчас распиваем водку, не забывая поднять тост за всех павших на этом кургане. Монтируем гигантский меч, снимаем ветровые нагрузки, при помощи мощных фаркопов натягивая тросы...

Практически в каждый из этих приездов я навещаю Федора Григорьевича, он радуется меня новыми стихами, поэмами — а вот мне, к сожалению, соответствующим образом ответить ему особо нечем. Но он видит во мне, прежде всего, друга — и рад каждому моему появлению безгранично. Всегда.

Среди людей ищу я человека,
Среди зерницы яблоко ищу.

А сам я кто? Урод я, иль калека,
Бредущий навстреч шумному дождю...

Воспряну я и телом, и душою,
Как бы с самой землей наговорюсь.
Сойдет с меня дымящейся росой
На сердце солонящая грусть.

В начале семидесятых в Ставрополе проходит семинар творческой интеллигенции — свой рабочий кабинет для нас, начинающих поэтов и прозаиков, радушно предоставляет секретарь крайкома Михаил Горбачев. По итогам семинара мне дают рекомендацию для поступления в Литературный институт имени Горького...окрыленный, я посылаю в Москву свои вирши — и получаю ответ, что творческий конкурс мною успешно пройден. С радостью пишу об этом Сухову — а тот, мудрый человек, поживший на свете и покрутившийся в среде собратьев по перу, пишет для меня рекомендательное письмо в приемную комиссию института. «Передай это письмо моему другу Н., он тебе поможет непременно».

Увы, я, понадеявшись на собственные силы, не следую совету Федора Григорьевича — и вскоре Москва льет на мою горячую голову, один за другим, ковши ледяной воды. По дороге в общежитие слушаю рассказы такого же, как я, абитуриента, молодого парня...такого же, да не такого! Оказывается, он — «родственник великого советского писателя» и очень уверен в том, что напишет сочинение на «отлично». А вот и источник его уверенности — в папке, что под мышкой у паренька, лежит уже написанное сочинение на тему «Мой любимый писатель». Оказывается, он уже носил его на проверку к преподавателю, тот сделал ряд замечаний — и «родственнику великого» теперь предстоит дома, кое-что подправив, всего лишь переписать сочинение набело. То есть, он уже знает тему экзаменационного сочинения?...но ведь этого просто не может быть! Здесь, в храме литературы — и такое?

Другое возможное препятствие — предварительное собеседование на предмет «политической зрелости». Я этого собеседования, признаться, побаиваюсь: особенной любви к родной партии не испытываю, зато верю Солженицыну, высоко оцениваю его повесть «Один день Ивана Денисовича», частенько вслух критикую разные недостатки окружающей жизни. Многие в Ставрополе об этом знают, в том числе и из писательской среды...слава Богу, что Москва от Ставрополя далеко.

— Почему беспартийный? — задают мне на собеседовании единственный вопрос.

Что тут ответишь? Выручает кто-то из приемной комиссии:

— Да он еще молодой...

К экзаменам меня все же допускают, и вот наступает пора писать сочинение. Преподавателю приносят конверт, запечатанный сургучом, конверт торжественно вскрывается.

— Тема сочинения — «Мой любимый писатель».

Я озираюсь, ища глазами своего недавнего знакомого: где же он? Ах, да, ведь он — прозаик, сдает в другой аудитории. Сдаст, конечно...а я -то, дурак, не поверил ему...

В сочинении я не делаю ни единой ошибки, устный экзамен по русскому и литературе сдам успешно. На других экзаменах тоже не подкачал. Но в институт мне поступить так и не удастся. В чем дело? Огорченный, стою у дверей приемной комиссии. И тут ко мне выходит поэт Александр Жаров, в семинаре которого мне так хотелось заниматься.

— Знаешь поэта К.? — он называет фамилию одного из «партийных стихотворцев» Ставрополя.

— Знаю...

Жаров молча разводит руками и удаляется. И тут я понимаю, что Ставрополь совсем не так уж далеко от Москвы...

Уезжаю домой, в Ставропольский край. Настроение — самое кислое, но работа и семья спасают от неврастения. Через год получаю еще одну оплеуху. На две недели меня командируют на очередной семинар творческой интеллигенции, я мчусь в Ставрополь, слушаю, сидя в зале, выступление первого секретаря крайкома Михаила Горбачева:

—...а в прошлом году мы послали в Литературный институт Валерия Мутина, пусть он там общечеловеческой культуры наберется!..

Все рукоплещут...но после этого кто-то, хорошо осведомленный, очевидно, «поправляет» высокое начальство — и оно резко меняет свое отношение ко мне. В кабинете секретаря крайкома мне приходится выслушать совсем другие слова: и что неграмотный-то я, и бездарный, и вообще политически подозрительный к какой-то...Все это надолго выбивает меня из колеи.

Забегая вперед, скажу, что от Горбачева (как бы плохо кто ни относился к нему за последующий развал державы) лично я зла не видел. Помню его молодым, радеющим за судьбу Родины, за ее великую культуру, до сих пор уважаю этого человека. А Михаил Сергеевич с тех самых лет настолько хорошо запомнил и меня, и мои стихи, что однажды, уже в должности генсека, процитировал пару моих строчек по телевизору:

Приезжай в Васильково, Ирина,
Где соломою ветер пропах...

Жизнь идет...и вот судьба вновь заносит меня в гости к Федору Григорьевичу. Он, к тому времени перенесший тяжелейшую операцию на желудке (резали через спину, он показывает мне шрам), выглядит неважно, сильно постарел. Узнав, что я не учусь, горестно выдыхает:

— Значит, они совсем решили добить меня...

Рассказывает о своих злоключениях: его преследуют за последнюю изданную книгу «Былина о неизвестном солдате».

Лежат вповал ребята
В свои семнадцать лет,
Лишь тем и виноваты,
Что родились на свет.

Оказывается, эти строчки в Союзе писателей расценили как клевету на советскую действительность — и вокруг Сухова сгущаются тучи. Ему даже пришлось на время добровольно лечь в «психушку». А пока он там находился, в его квартире сделали обыск, переворостили все рукописи. В обыске, кстати сказать, участвовала и небезызвестная поэтесса Маргарита Агашина.

Этой нашей встрече суждено оказаться последней: в 1975 году, распрощавшись с Суховым, я уезжаю к себе в Ставрополь, а оттуда — в сибирские просторы, на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. В поселке под Саяногорском мне, к тому времени уже отцу троих детей, дают приличное жилье, на работе уважают, называя лучшим бригадиром стройки...чего ж мне еще? Поэзия? Да, я кое-что пишу и посещаю литературное объединение «Стрежень», где меня понимают и поддерживают все местные литераторы. А с Волги, от Федора Сухова, идут письма. В каждом из них, кроме душевных строчек — засушенные васильки, ромашки, незабудки.

«Дорогой Валерий! Получил Ваше письмо и стихи. Большое спасибо Вам за память. Я тоже помню Вас, помню нашу последнюю встречу в Волгограде... Очень жаль, что Вы не смогли целиком отдаться поэзии. Но особо не горюйте: сама жизнь — это тоже поэзия...»

Да, мой старший друг, как всегда, прав: жизнь так же затягивает, как и стихи, так же таит за каждым своим поворотом и горькие открытия, и пьянящую радость узнавания чего-то нового, неизведанного. Статичной она бывает редко...только решишь, что ты уже

остался где-то (или с кем-то) навсегда, на вечные времена — как она уносит тебя в новые дали...

Так происходит и со мной: прожив восемь лет в дальнем далеке, я возвращаюсь в 1983 году в родные края, в ярославское село Пречистое, где устраиваюсь электромонтером в местное ПМК. Рядом с Пречистым в это время вовсю идут работы по мелиорации заброшенных полей, на краю поселка для специалистов строят новые дома, дают и приусадебные участки. В одном из таких домов я и поселяюсь, перевожу из Саяногорска семью. Стихи здесь пишутся как-то совсем по-другому, родная земля словно вливает в мою душу новые силы.

Не мыслил я услышать снова
В тиши заброшенных полей
Над крышей низенького дома
Знакомый оклик журавлей,
Шагать по узенькой тропинке,
Месить невидимую грязь
И каждой кланяться травинке,
Что от косы убереглась...

Покупаю сборники местных поэтов: ярославцы пишут, на мой взгляд, очень и очень неплохо, высоко поднимают поэтическую планку, в стихах их чувствуется дыхание нового времени. От молодых отставать негоже, я рассылаю стихи в редакции и издательства, идут публикации в газетах, коллективных сборниках. Однако собственную книжку и здесь издать не так-то просто, не говоря уж о вступлении в Союз писателей. Только в 1990 году мне удается издать за свой счет первую книгу стихотворений «Тополиные острова».

Работа, быт, ежедневные заботы и радости жизни затягивают, отрывают от пера. Но где же, как не здесь, на родине предков, мне и творить?

Я долго шел за солнцем вслед,
Мне ветра музыка знакома.
Не бесконечен белый свет -
Я снова дома.
Течет река, как бы с ленцой,
По дну широкой луговины.
Я вижу матери лицо,
Ее седины.
И с сердца схлынула тоска.
И жизнь мила, и в счастье верится.
И тянется к листку рука,
И любит сердце.

Пречистое, 2005.

ОПЫТЫ



Наталия Мусинова

Футуристические настурции

НАСТУРЦИЯ 11

Меня как-то спросили,
а я не ответила. Зачем?
Неужели кому-то нужен
мой ответ?
Все слышат только себя.
И снова. И опять.
К чему слова?
Так приятно молчать.
Молчание такое теплое
и очень вкусное,
прямо как пироги с малиной
из самого детства.
И не пытайтесь понять меня!
Неужели кто-то всерьез
хочет сломать голову, чтобы узнать,
кто я и что я?
Попробуйте лучше молчание.
Оно, когда еще теплое —
очень ароматное
и пахнет малиной
из самого детства.

Наталия Евгеньевна Мусинова родилась в 1972 году в Костроме. Окончила филологический факультет Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова и аспирантуру при кафедре теории и истории культуры. В 2002 году защитила диссертацию по творчеству Н.С. Гумилева, кандидат искусствоведения. Работает старшим преподавателем на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин в Костромском филиале Московского военного университета, преподает политологию и социологию, заведует военно-научной работой кафедры.

Стихи и прозу пишет с детства. Печаталась в костромских коллективных сборниках, в журналах «Юность» и «Молодая гвардия». В 2005 году вышли в свет книга стихотворений Н. Мусиновой «Страна ветров» и книга прозы «Аллегория счастья».

Живет в Костроме.

НАСТУРЦИЯ 39

Подари мне слона,
хотя бы из плюша,
или из вежливости.
Тебе-то все равно,
а для меня он — источник вдохновения,
куча ассоциаций,
память до пенсии
и просто красивая вещичка.
Ты, конечно, подумаешь:
«Ну и запросы идиотские у барышни...»
Это разве запросы!
Это так, разминочка
не для слабонервных,
потому что живого слона
я хочу гораздо больше!
И зная, как сильно ты меня любишь,
я уже заказала в цирке
симпатичную двадцатиметровую клетку.
Да, лапуля, ты правильно догадался:
она будет стоять на заднем дворе
нашего нового особняка.

НАСТУРЦИЯ 45

Выпью пива
целый стакан
без закуски,
орешки не в счет —
и начну буяннить.
Что вы все так напугались?
Да заплачу я вам за вашу
засиженную мухами витрину!
Какая разница,
на чьи деньги я гуляю?
Женщина хочет праздника!
Эй, человек
с лицом цвета
спелой вишни!
Пиво-то — разбавленное,
и орешки пересоленные,
и вообще я —
из общества по охране прав потребителей!
Что-что? Разбитая витрина
вас уже не смущает?
Нет, пиво можно не повторять,
Принесите-ка лучше мартини, лед и анчоусы.
Женщина хочет праздника!

НАСТУРЦИЯ 23

Разлюблю тебя. Решила.
Только вот доем пирог.
Не могу, знаешь ли, отказать себе
в этом садомазохистском удовольствии —
когда я, облизывая масляные пальцы,
уничтожаю на твоих глазах
третий кусман горячего
черничного пирога.
А ты сидишь такой красивый
и печальный (тебе вообще печаль к лицу)
и уставшими,
будто чего-то просящими
глазами
смотришь на меня.
Мне очень нравится
этот твой странный взгляд!
В нем столько тайны,
столько нечеловеческой тоски.
Ты плачешь, милый?
Ты не хочешь, чтобы я уходила?
Или тебе просто давят наручники,
которыми ты прикован
к батарее в нашей спальне
вот уже третьи сутки?

НАСТУРЦИЯ 8

Я ем бруснику горстью.
Кислятина!
Аж жуть!
А все почему?
Да потому, что
мне больше нечего есть.
Я бедная студентка третьего курса
гуманитарного университета
с очень средними способностями.
Надо было все же бабушке с дедушкой
отчалить за границу
на пароходе современности.

НАСТУРЦИЯ 1

Получила премию
и купила тысячу
разноцветных стеклянных шариков.
Разбросала их по комнате,
тем более, что мебели
в ней совсем нет,
зажгла поярче солнце,
которое свешивалось в окно,
и села в позу лотоса.
Сижу. Медитирую
на пересечении миллионов
сияющих и дрожащих лучей.
И кажется мне,
что кроме этой белой комнаты,
ничего в мире нет —
только горы и небо,
сосны и родниковые ручьи
повсюду.
И вот еще эта красная
Божья коровка
с аквамариновыми глазами,
которая сидит у меня на коленке
и медитирует,
и кажется ей,
что кроме этой белой коленки,
ничего в мире
нет.

НАСТУРЦИЯ 21

Не понимаю: либо я счастлива,
либо абсолютно несчастна.
Всматриваюсь в бытие этого вечера
и плачу.
Никто не видит моих слез.
Никогда.
Я сильная. Очень сильная,
и в этом — моя слабость.
Меня любят. Несколько мужчин.
И что?
Мне не нужен ни один из них:
они слишком нежны,
слишком эмоциональны,
слишком вспыльчивы,
в них столько женственности.
А я не могу любить себе подобных,
мне необходимо воплощение
противоположности.

Мужчина должен быть сильнее
моей слабости.
Возможно ли это?..
Темно.
Падают листья.
Выключен звук.
Не слышу ничего, кроме тишины,
и плачу.
Никто не видит моих слез никогда,
потому, что меня — нет.

НАСТУРЦИЯ 43

Рассредоточилась
по трем направлениям.
Одна часть любит тебя,
другая ненавидит,
а третья сидит в чужой квартире
с высоким черноглазым анестезиологом
и режется в карты на раздевание.
Скоро из вещей на мне
останется только цепочка,
подаренная тобой
на день Благодарения.
Ты еще можешь
успеть на финал,
еще можешь успеть...
А вот теперь уже не торопись!

НАСТУРЦИЯ 41

Любовь закончилась внезапно,
вчера,
в пятнадцать двадцать восемь.
Я поняла, что бездарно
ошиблась в тебе —
и во мне тут же проснулись
дикая жажда деятельности
и зверский аппетит.
Купила бубликов и копченую курицу!
Не то чтобы все съела,
но закусала порядочно.
Прибралась в бардачке мозга.
Поменяла замки
у входной двери и сердца.
Стерла с ключей бесконечные отпечатки

твоих жирных пальцев.
Выкурила пачку «Элэма» —
гадость! —
но стало легче.
Не то чтобы сразу,
но зато значительно.
Продала квартиру, дачу, машину,
бабушкину золотую брошь в виде скорпиона,
тридцать тетрадей своих любовных мемуаров —
и махнула в Майами!
Лежу вот теперь на заграничном пляже, в бикини.
Не то чтобы загораю —
просто не смогла красиво утопиться.
Но спасатель — этот чернокожий жеребец —
парень что надо: сделал
искусственное дыхание...
Через неделю — свадьба.
И почему мне раньше
нравились белокожие мужчины?
Они либо зануды, либо неврастеники.
Девочки!
Не маринуйте себя в этом северном зверинце!

НАСТУРЦИЯ 28

Когда была перепись населения,
я никак не могла определиться
со своим родом деятельности.
По специальности я — педагог,
а по призванию, безусловно — художник.
Я — автор нового направления в живописи:
пишу картины невидимыми красками
на невидимых холстах
и гребу на этом деле сумасшедшие бабки.
Помню, сделала я свою первую выставку
в художественном музее,
так пришло столько народу,
что многие внутрь не поместились
и плющили свои носы и щеки
о полузамерзшие стекла галереи,
где на разных уровнях
с потолка свисали пустые рамки
с названиями картин.
Я наблюдала за богемной публикой,
налево и направо раздавала интервью — и вскоре
кто-то из устроителей принял решение
организовать аукцион-распродажу.
Моя невидимая картина
«Стыдливый румянец китайской де вушки»
была продана за приличные деньги —
и началась звездная карьера

Мадам Невидимки (так меня
окрестили журналисты).
Европа и Америка утомили быстро,
я купила скромный трехэтажный домик
на берегу Волги —
и творю, творю с утра до вечера
свой имидж.
Приходится, знаете ли, соответствовать!
Хожу теперь в длинных шелковых платьях
с газовыми шарфами,
отрастила ногти,
накачала губы силиконом,
курю кубинские сигары,
езжу на белоснежном «Mitsubishi»,
забавляюсь с шофером Стасом,
когда муж улетает в командировку,
и отовсюду исчезаю, исчезаю...
Если меня приглашают на творческий вечер —
я, само собою, опаздываю
и, проплывая мимо
тарашащихся на меня
заслуженных художников,
застываю
с бокалом «Мартини» в небрежных пальцах,
томно смотрю сквозь наклеенные ресницы
куда-то вдаль...А когда банкет уже в самом разгаре,
вдруг ухожу, исчезаю, испаряюсь
через запасной выход.
А народ придумывает легенды.

Ничего нет проще в нашем мире,
чем делать деньги из воздуха.
Пустота в цене. Абсолютный ноль
признается всеми и ужасно моден.

Подпись (*неразборчиво*).

НАСТУРЦИЯ 42

Перебила в доме всю посуду.
Вы подумаете: «темперамент зашкаливает...»
Да нет, просто была пьяна
и в руках у меня ничего не держалось.
Лежу вот теперь на голом полу,
потому что мебель вынесли
какие-то доброжелатели,
пока я находилась в состоянии нирваны.
Ем супчик из металлической мисочки.
Откуда-то доносится музыка Вагнера.
Нет, это не из моего телевизора —
его тоже похитили.
Такая нелепость... Такая нелепость

этот Вагнер в начале 21 века,
что хочется плакать
от душевной дисгармонии
и желания изменить мир.

Но это будет уже совсем другая наступция.